

ПОРОГ ² МЕРТВЫЙ МЕРИДИАН



РОМАН ВОРОБЬЕВ

Роман Воробьев Порог. Мёртвый меридиан. Том 2

<https://litres.ru/74334808>

SelfPub; 2026

Аннотация

За Кромкой нет карты, воды и тяги — есть только стук. Шесть лет назад отец Дана Веко ушёл за границу Паутины, с которой не возвращаются, и стучит оттуда по сей день. «Молчун» идёт на этот ритм как на курс.

В нервной системе Дана — чужой инструмент Ключ, за которым охотится Гильдия. Правая рука мертва, воды в запасе восемь литров, за кормой охотница Дорн, а за ней — третий борт, невидимый ни в оптике, ни в тепле.

Там, куда они идут, двери открываются сами — по расписанию, которого не понимает никто. Дверь, вскрытая не в такт, режет всё живое в створе. Чтобы дойти до отца, Дану придётся перестать взламывать и научиться входить в чужое дыхание.

Кто открывает запретные маршруты, ведущие за Кромку? И чем Дану придётся заплатить, чтобы дойти до того, кто стучит?

Содержание

Глава 1. Ноль	4
Глава 2. Сто пятьдесят миллилитров	22
Глава 3. Две минуты	40
Глава 4. Двадцать литров	58
Глава 5. Списанные	76
Глава 6. Сходни	95
Глава 7. Тетрадная	113
Конец ознакомительного фрагмента.	128

Роман Воробьев

Порог. Мёртвый меридиан. Том 2

Глава 1. Ноль

Карандаш я держал левой, и строчка уезжала вниз.

Судовой журнал лежал на пульте, развёрнутый на чистом развороте, и я вписывал в графу «положение» то, что мог вписать: ничего. Буквы получались чужие, с завалом вправо, каждая третья ниже строки. Я дописал строку, глянул на неё и не узнал свою руку.

Правая лежала на косынке у груди. Она не участвовала. Она даже не мешала.

— Курс, — сказала Аглая.

Она стояла у своего кресла, не садясь. Ключи на поясе молчали: она стояла ровно и не двигалась, и от этого в рубке было тише, чем должно быть на живом корабле.

— Нет курса, — сказал я.

Гирокомпас в кожухе крутился волчком. Не плыл, не дёргался, а именно крутился, ровно, с той механической прилежностью, с какой хорошая деталь делает бессмысленную работу. Я смотрел на него уже минут двадцать. Он не уста-

нет. Он будет крутиться, пока не сядут элементы.

— Скажи, чего нет, — велела Аглая. — По порядку.

— Гирокомпас, — я кивнул на кожух. — Он ищет ось и не находит. Тут её нет.

— Дальше.

— Сетка Паутины. — Я потянулся левой к тумблеру обзора, вывел на нижнюю шкалу и показал: пусто. Раньше на этой шкале жили нити, тонкие светящиеся жилы, ближайшие развязки, отметки узлов. Шкала показывала серую подсветку и ноль. — Тут нечего ловить. Не приборы сломались. Тут просто нет сети.

— Дальше.

— Счисление. — Я сглотнул. Слюна была тёплая и отдавала железом, как весь второй день. — Счисление ведут от чего-то. От узла, от отметки, от последнего пеленга. Мы вышли с карты в двадцать три сорок пять. С тех пор мы никуда не шли, мы падаем по инерции, и я не знаю, в какую сторону мы падаем, потому что не от чего мерить.

Аглая не отрывала глаз от кожуха.

— Рина, — сказала она.

Рина сидела боком к своему посту, наушник на шее, руки на коленях. Она их держала на коленях, чтобы не тянуться к тумблерам, — я это понял по тому, как она их держала.

— Деда нет, — сказала она. — Сто девятнадцатый ушёл в двадцать два ноль семь, я вносила. С тех пор я гоняю весь диапазон подряд, шкала за шкалой, туда и обратно.

— И?

— И там не тишина. — Рина поправила заколку в хвосте и не поправила, а просто потрогала. — Тишина — это когда есть шум и нет сигнала. Шум всегда есть, капитан, шум даёт железо, дают звёзды, дают наши собственные провода. Я третий год слушаю. У меня сейчас ноль. Ровная линия. Я такого не слышала никогда.

— Приёмник цел?

— Я проверила на своём генераторе. Генератор он слышит. — Она помолчала. — Он слышит только нас.

Аглая перебрала ключи на поясе — один раз, коротко, — и остановила пальцы.

— Дан. Ты слышишь?

Вот тут надо было соврать.

Я стоял, упирался бедром в край пульта, потому что стоять ровно ещё не получалось после того, как док вправил бедро, и понимал: если сейчас скажу «слышу маршрут» — мы будем идти. Если скажу правду — мы будем висеть.

Я сказал правду.

— Маршрут — нет. Маршрута нет ни на палец. — Я тронул языком нёбо, где под железным привкусом сидело то самое, единственное, что у нас осталось. — Стук есть. Отцовский. Раз в одну и восемь.

— Ровно?

— Ровно. Как из точки выхода.

— Откуда?

И вот здесь я вляпался.

Потому что стук не приходил в ухо и не приходил в порт цифрой с направлением. Он приходил в кость. Ныли корни нижних зубов, справа сильнее, чем слева, и в этом «справа сильнее» был весь мой азимут. Я стоял и поворачивался, как дурак с лозой, ловя, где заломит крепче. Поворачивался на четверть, замирал, слушал. Ещё на четверть.

— Спереди и чуть вниз, — сказал я наконец. — Плюс-минус ладонь.

— Плюс-минус ладонь — это сколько градусов?

— Не знаю, капитан. У меня нет шкалы. У меня есть зубы.

Тарас бы на это что-нибудь сказал. Тараса в рубке не было, он третий час ковырялся в машинном над тем, что осталось от шины, и рубка приняла мою фразу молча, без единого звука, и мне стало нехорошо от собственной шутки.

Аглая подошла, взяла журнал левой рукой за корешок и развернула к себе. Пробежала глазами мои строчки. Ничего про них не сказала.

— Пиши, — сказала она и подвинула ко мне карандаш обратно. — «Сутки двенадцать, ноль один пятнадцать. Гироскопас неработоспособен. Сетка отсутствует. Счисление утрачено. Курс ведётся по слуховому ориентиру навигатора: интервал одна целая восемь десятых секунды, направление устойчивое, спереди-вниз».

Я начал писать. Карандаш скользил, я придерживал журнал локтем мёртвой руки, и локоть тоже не помогал, он про-

сто лежал на бумаге весом.

— Одна целая восемь, — повторила Аглая. — Это теперь наш азимут.

— Это не азимут, — сказал я. — Это ритм.

— У меня нет других. — Она смотрела, как я вывожу цифры. — Ярко говорил: слушай тишину, тишина тоже звучит. Тишина у нас теперь есть. Записывай, чем она звучит, каждую вахту. Если однажды будет не одна и восемь, я хочу видеть, с чего началось.

Я дописал и подчеркнул интервал двумя чертами. Черты вышли кривые.

Аглая обошла пульт и одну за другой погасила обзорные шкалы. Верхнюю, среднюю, потом боковые. Рубка проваливалась в темноту кусками, как гаснут окна в доме, и остался только янтарный аварийный над дверью, тот, что жрёт меньше всех.

— Капитан, — сказала Рина.

— Батареи, — ответила Аглая. — Тяги нет, значит, зарядки нет. Всё, что светит, мы отнимаем у воздуха. Обзор нам сейчас ничего не показывает, а ест он как взрослый.

Она оставила гореть одну шкалу — оптику кормового сектора. На ней в правом углу висело смазанное серое пятно, слишком ровное для пустоты.

Двенадцать километров позади нас в том же мёртвом падении шёл «Коршун».

Рина смотрела на пятно.

— Он тоже не может, — сказала она. — Он же не может, да? Он вошёл сюда за нами, у него та же сетка, тот же ноль.

— Он может стрелять, — сказала Аглая. — Для стрельбы сетка не нужна.

Она подняла хронометр с пульта, подержала в ладони и положила обратно циферблатом вверх.

Не щёлкнула.

Дверь в лазарет стояла открытой, и оттуда тянуло холодом сильнее, чем из коридора: док не грел помещение, он экономил, как все. Он сидел на своей койке, а вторую, освобождённую от ящиков ещё на «Точке-12», занимал я.

— Рукав, — сказал он.

Я подставил плечо. Рукав он мне срезал ещё сутки назад, так что срезать было нечего, он просто откинул край. Рука лежала у меня на колене вверх ладонью и была чужая. Кожа на предплечье выглядела нормально, если не считать вен. Вены шли тёмным, почти чёрным, от кисти вверх, ныряли под ключицу и вылезали на шею под челюсть — по одной с каждой стороны, как будто кто-то провёл под кожей проводом.

Док взял иглу и начал с кончика мизинца.

— Тут?

— Нет.

— Тут?

— Нет.

Он шёл вверх по фалангам, по пястью, по запястью, ко-

ротко и без нажима, и каждый раз ждал полсекунды. Игла вминала ладонь ямкой, кожа под ней белела и отпускала.

Я не чувствовал ничего.

Он дошёл до локтя, до середины плеча, и там я всё-таки сказал:

— Тут.

— Что «тут»?

— Не боль. Как через одеяло. — Я подбирал, чем это назвать. — Как будто трогают не меня, а рядом.

Док взял спиртовую салфетку, провёл по внутренней стороне предплечья. Спирт должен холодить. Это самое дешёвое, что есть в мире: холод от спирта на коже.

— Есть?

— Нет.

Он молча дошёл салфеткой до ключицы и остановился там, где кожа перестала быть моей.

— До ключицы ноль, — сказал он. — Считай.

— От ста?

— От ста. Назад по семь.

— Сто, девяносто три, восемьдесят шесть, семьдесят девять, семьдесят два, шестьдесят пять, пятьдесят восемь, пятьдесят один, — я говорил ровно, я знал эти цифры лучше своего имени, я сдавал этот тест столько раз, что мог бы сдать его во сне, — сорок четыре...

И встал.

Не потому, что забыл. Я знал, что дальше. Дальше трид-

цать семь, это простое вычитание, семь из сорока четырёх, я умею. Просто между «сорок четыре» и следующим числом открылась щель, и в щели ничего не было, и я стоял над ней и слушал, как в кости справа под челюстью ударило раз.

И ещё раз.

Одна и восемь.

— Тридцать семь, — сказал я. — Тридцать, двадцать три.

— Хватит.

Док полез в карман и достал тетрадь. Клеёнчатая, распухшая, перетянутая резинкой от бумажек, которые он туда суёт годами. Он снял резинку, открыл ближе к концу и стал писать сверху вниз, мелко, без наклона.

Дата. Время.

Я смотрел на страницу через его плечо и видел столбец. Свои дни я знал наизусть: задержка, задержка, провал, провал, провал, дважды слово, которое я так и не разобрал, потом рука. Дальше шли даты последней недели, и напротив каждой стояло что-то. Слово. Всегда одно слово.

Против сегодняшнего числа он поставил время и остановился.

Карандаш стоял над графой. Долго.

Потом док закрыл тетрадь, натянул резинку и убрал её в карман.

Графа осталась пустой.

Я такого за весь рейс не видел ни разу. Он вносил туда даже мою ложь, не споря, — я один раз сказал ему, что спал

шесть часов, и он записал шесть, зная, что четыре. У него на всё было слово.

— Док.

— М.

— Сколько.

Он достал сигарету, покатав в пальцах, не зажигая.

— Не знаю.

— Ты всегда знаешь. Ты считаешь.

— Я считаю то, что меряется. — Он говорил ровно и в сторону, как всегда, когда говорил тяжёлое. — Меряется у меня вот что: онемение шло снизу вверх ступенями, и я знал шаг. Вчера утром шаг кончился. Оно дошло до ключицы и встало. Сутки стоит.

— Это же хорошо?

— Это не хорошо и не плохо. — Сигарета в его пальцах остановилась. — Это значит, что я больше не умею предсказывать. Пока оно шло, я мог написать, где оно будет завтра. Сейчас я не могу написать ничего, потому что процесс перестал вести себя как процесс.

— И поэтому графа пустая.

— Поэтому графа пустая, — согласился он и добавил, катая сигарету: — Я не собираюсь ставить туда слово, которое придумал сам. Ты будешь на него смотреть и в него верить.

За переборкой лязгнуло, и в проёме нарисовался Тарас с двумя кружками и с той походкой, по которой его слышно за три отсека: пластина в правом ботинке скребёт через шаг.

— Вода, — объявил он. — По пятьдесят на рыло. Не спорьте, я мерил шприцем.

— Шприцем, — сказал док.

— Твоим. Я вернул. — Тарас поставил кружки на ящик, и в них было ровно на два пальца дна. — Восемь литров расходного. Аварийный НЗ сорок, но он аварийный, его капитан вскроет, когда я перестану быть весёлым.

Я взял свою левой. Вода была тёплая, застоявшаяся, с железом, — то же железо, что у меня во рту, и я минуту не мог понять, где кончается вода и начинается я.

Тарас пил медленно и косился на мою руку. Потом поставил кружку и сказал:

— Ложись затылком.

— Что?

— Ты слышал. — Он уже разворачивал на ящике тряпицу с паяльником, и в тряпице лежала спиртовая таблетка в жестяной крышке. — Я тебе обещал перепаять вывод. У тебя там медь на алюминии, я тебе объяснял: пара. Оно сожрётся. Оно уже жрётся, у тебя контакт зелёный.

— Тарас, у нас корабль без тяги.

— У меня корабль без тяги, — согласился он, чиркая спичкой над таблеткой. — Тяги у меня больше нет ни грамма, шина спалена дотла, я вчера её сжёг своими руками и второй раз сжечь не смогу, потому что нечего. — Таблетка занялась синим, ровным, почти невидимым. — Так что я чиню то, что чинится. Ложись.

Я лёг на бок, головой к нему, щекой на скатанную куртку. Порт у меня на шее сзади, под волосами, — я его паял себе сам в шестнадцать, надфилями этого же Тараса, под палубой в «Тупике», и все шесть лет он держался на честном слове и на моей вере в собственные руки.

Тарас развёл волосы, подышал на пальцы.

— Не дёргайся. Будет горячо, но ты справа всё равно ничего не чувствуешь, а я паяю слева.

— Утешил.

Паяльник он держал как хирург, тремя пальцами у самого жала. Пахнуло канифолью, и этот запах был первым за сутки, который не был запахом остывающего металла. Он что-то счистил, приложил, дунул. Капнул. От затылка пошло тепло, короткое и почти приятное.

— Готово. — Он мазнул сверху канифолью и заклеил. — Через сутки посмотрю. Если позеленеет снова, буду думать про серебрянку.

— У нас есть серебрянка?

— У нас есть я.

Он собрал тряпицу. Док молчал, катая свою незажжённую сигарету, и я вдруг заметил, что косынка на моей груди сползла и правая кисть висит.

Поправить её левой не выходило. Я подцепил край брезента, потянул, узел ушёл в сторону, я подтянул зубами — и брезент треснул, разошёлся по кромке на ладонь.

Я сидел с куском косынки в зубах и с рукой, которая не

моя, посреди корабля, который никуда не летит.

Тарас поставил кружку. Достал отвёртку, поддел ею нитку из разлохмаченного края, выдернул одним движением, перехватил узел на шее и завязал заново — крепче, чем было.

На меня он не посмотрел ни разу.

— Так держит, — сказал он ящику.

В носовом блистере было градусов на десять холоднее, чем в рубке, и дышать приходилось в воротник.

Блистер — это пузырь толстого стекла в носу над грузовым порогом, куда лазают раз в год, когда надо посмотреть глазами. Рина расчистила его ещё вчера. Изнутри по стеклу шёл иней от нашего дыхания, снизу тянуло сквозняком от переборки, и где-то за спиной свистел клапан регенератора, стравливая помаленьку.

Стекло было холодное так, что лоб к нему прижимать нельзя.

За стеклом не было ничего.

Я не про «темно». Темно бывает в тени планеты, темно бывает в трюме. Здесь чернота была без структуры: ни звёздных путей, ни пыли, ни одной точки, за которую цепляется глаз. Смотришь — и глаз начинает выдумывать сам, ставит себе пятна и разводы, лишь бы что-нибудь видеть. Через минуту я закрыл глаза, посчитал до пяти и открыл. Разводы пропали и начали заводиться заново.

Внизу справа, у самого края, чернота была другая. Там шла косая полоса, где темнота слегка двоилась и подрагива-

ла, — граница зыби, та самая, через которую мы прошли. С этой стороны она выглядела как царапина в толще, которую не оттереть.

— Ещё раз, — сказал я. — Тихо, пожалуйста.

Все замолчали. Аглая стояла у люка, Тарас сидел на корточках у трубы, Рина держала на коленях аварийный планшет с оптикой.

Я повернул голову влево. Слушал.

Стук приходил в челюсть справа. Не в ухо. Ухом я слышал только свист клапана и то, как за переборкой скребёт по жести Гвоздь в своей банке под верстаком — щелкун скрёб неровно, с провалами, сбивался, и от этого его было слышнее всего.

Раз.

Пауза.

Раз.

Я считал вслух, чтобы Рина писала:

— Один и восемь. Один и восемь. Один и восемь.

— Ровно, — сказала Рина, водя карандашом. — Как вчера.

Я повернулся ещё. При повороте вправо ныло крепче, при повороте влево слабее, и точка, где крепче всего, лежала вон там, за косой границей, чуть ниже линии горизонта, которой тут не было.

— Ничего не изменилось, — сказал я. — Спереди и вниз. Он там, где был.

— Он или оно? — спросила Аглая.

Хороший вопрос. Я его себе не задавал вслух.

— Стук отца, — сказал я твёрже, чем чувствовал. — Три подводки курса, его почерк, я его читал. Он держит дверь. Он стучит.

— А второе?

Я промолчал секунды три.

Про второе я сказал вчера один раз, в конце вахты, устало и невнятно: что за спиной у отцовского стука есть ещё что-то, не ритм, а как будто присутствие, вроде большой комнаты, у которой не слышно стен. Я надеялся, что все забудут.

— Второе на месте, — сказал я. — Оно не стучит. Оно просто есть.

Тарас засвистел было сквозь зубы и оборвал сам себя.

— Расстояние? — спросила Аглая.

— Не знаю.

— Дан.

— Капитан, я правда не знаю. — Я отлепил руку от стекла, и ладонь оставила на инее пятно, которое тут же начало затягиваться. — Тут расстояния не меряются. Мне зубами ломит одинаково, что до него километр, что месяц хода. Я могу сказать «туда». Больше не могу ничего.

— «Туда» — это уже больше, чем у гирокомпаса, — сказала Аглая. — Рина, пиши: слуховой ориентир устойчив, изменений нет. Время?

— Ноль четыре двенадцать.

— Пиши.

Рина писала, придерживая планшет коленом, и вдруг перестала.

Она смотрела не в блистер. Она смотрела на оптику.

— Возмущение, — сказала она.

— Что?

— На корме. — Она подкрутила ручку, и по маленькому экрану поползла серая рябь. — Не сигнал. У меня нет сигналов, у меня ноль. Это оптика. Двенадцать километров, тот же сектор, где он висел.

Мы все повернулись назад, что было глупо: назад из блистера не видно, там наш собственный корпус.

— Что он делает? — спросил Тарас.

— Он ничего не делает, — сказала Рина. — В том и штука. Он падает точно как мы. Я его меряю четвёртый час, дистанция двенадцать, и она не гуляет. Ни на сотню метров.

— Значит, он тоже без тяги, — сказал Тарас, и в голосе у него была какая-то нехорошая радость. — Значит, он такой же дохлый, как мы. Он же не может маневрировать, у него сетки нет, у него...

— У него восемь стволов по борту, — сказала Аглая.

Тарас заткнулся.

Я повернулся обратно к черноте и как раз поэтому не увидел первым. Первой увидела Рина, потому что не отрывалась от оптики:

— Огонь.

Аглая шагнула к ней.

На экране, в правом верхнем углу серого пятна, где до этого была только тьма, горела зелёная точка.

— Ходовой правого борта, — сказала Аглая после паузы.
— Один. Габарит.

— Он что, включил ход? — Тарас поднялся с корточек.

— Он включил лампочку, — сказала Аглая. — Ход бы мы увидели по дистанции.

— Тогда зачем?

Никто не ответил.

Я знал, зачем. Не про неё знал, про себя: когда в трюме темно и страшно и ты один, ты стучишь по переборке, чтобы кто-нибудь стукнул в ответ. Это делают не от храбрости.

— Она нам показывает, где она, — сказал я.

— Она нам показывает, что не стреляет, — поправила Аглая. — Стреляют без огней. Она вторые сутки могла нас разобрать по частям и не разобрала.

— Может, ей нечем? — предположил Тарас без надежды.

— Ей есть чем. — Аглая смотрела на зелёную точку. — Рина, запись идёт?

— Идёт.

— Пиши: ноль четыре четырнадцать, фрегат «Коршун», дистанция двенадцать, дрейф, зажжён один ходовой огонь правого борта. Оружие не заведено. Вызова нет.

Рина записала и подняла голову.

— Отвечать?

— Нечем. — Аглая помолчала. — И незачем. Она не спрашивает. Она отмечается.

Я стоял, прижав здоровое плечо к стойке блистера. Слева — маленькая зелёная точка на экране, впереди — чернота без дна. За всю мою жизнь никто не был мне так противен, как эта женщина. И сейчас она единственная в мире, кто знает, что мы живы.

А потом зелёная точка погасла.

И зажглась снова.

И у меня в челюсти под правым ухом ударило.

Я не сразу понял, что произошло. Я стоял и ждал следующего раза, как ждут повторения ошибки, и следующий раз пришёл, и точка на экране погасла и зажглась ровно с ним.

— Рина, — сказал я. Голос у меня сел. — Засеки интервал.

— Чей?

— Огня.

Она поймала карандашом такт, посчитала до двадцати, шевеля губами, и остановилась.

Она подняла на меня глаза, и по тому, как встал её карандаш, я понял, что она скажет, ещё до того, как она сказала.

— Одна и восемь.

В блистере стало очень тихо. Свистел клапан. За переборкой скрёбся Гвоздь, невпопад, как всегда.

Аглая наклонилась к экрану — я первый раз видел, чтобы она к чему-то наклонялась, — и долго держала взглядом зе-

лѣный огонёк, моргавший в такт удару у меня в кости.

— Дан, — сказала она, не разгибаясь. — Она тоже это слышит?

Я открыл рот и закрыл.

Огонёк моргнул. Ударило.

Моргнул. Ударило.

Глава 2. Сто пятьдесят миллилитров

Стук не прекратился и в трюме. Он шёл через кость под правым ухом ровно, как шёл всю ночь: удар, полторы секунды с хвостиком, удар. Я поймал себя на том, что переставляю ноги по трапу в такт, и сбился нарочно, и через десяток ступеней снова шёл в такт.

Внизу было холоднее, чем в жилом кольце. Трюм у нас не греется — греется то, что рядом с ним, а сюда доходит остаток. Пахло сырой пылью и вазелином, которым Тарас мажет всё, что может заржаветь, а ржаветь у нас может всё. Дышалось густо. Регенератор гудел на своей ноте, и по этой ноте я уже второй день слышал, что он тянет. Девятнадцать процентов, сказал утром док. И добавил, что считать начнёт на шестнадцати.

Аглая стояла у водяного коллектора с фонарём в зубах.

— Щуп, — сказала она невнятно и протянула руку.

Тарас подал мерный щуп. Она сунула его в горловину расходного бака, подержала, вынула и повернула к свету. Мокрое пятно на металле кончалось низко.

— Восемь, — сказал Тарас.

— Восемь и меньше, — сказала Аглая, вынула фонарь изо рта и вытерла его о бедро. — Щуп врёт вверх, он всегда врал

вверх. Считаю восемь.

Она сама записала цифру мелом на переборке, рядом с прошлой. Прошлая была вчерашняя, «восемь с половиной», и её никто не стирал.

Рядом, в позиции сорок один, стоял чёрный контейнер. Ремни на нём Тарас перетянул после разворота, третий поперёк, как велела Аглая, но створка всё равно не легла: она отходила от края на палец и держалась так, будто её изнутри что-то подпирало. Я смотрел на эту щель и знал, что там пусто. Шесть гнёзд в чёрной плите, и все шесть пустые, и в одном из них лежало то, что теперь во мне.

— Дан, — сказала Аглая. — Не сюда смотри. Сюда.

Док отмерял воду.

Он делал это цилиндром из лазарета, стеклянным, с делениями, стёртыми до того, что читались только сотни. Наливал из канистры, приседал, ловил глазом край мениска, потом переливал в кружку. Руки у него не дрожали. У него вообще никогда не дрожат руки, кроме одного раза, и тот раз я помню.

— Сто пятьдесят, — сказал он и подвинул кружку по ящику.

— Это на день? — спросил Тарас.

— Это на день.

— Это полторы моих ложки.

— Это на день, — сказал док в третий раз, тем же голосом, и стал наливать следующую.

Тарас взял свою кружку в ладонь, и с края цилиндра ему на тыльную сторону ладони сорвалась капля. Он посмотрел на неё. Потом быстро, не поднимая головы, слизнул и вытер руку о комбинезон, и глаза от дока отвёл.

Док не сказал ничего. Он даже глаз не поднял от цилиндра, и Тарас после этого не пил свою кружку минут десять.

— Паёк, — велела Аглая.

Тарас полез в ящик и стал выставлять банки на крышку. Считал вслух, как всегда, и, как всегда, сбился на седьмой.

— Десять, — сказал он наконец. — Концентрат. Из них две помятые, эти мои. Галеты в коробке, сейчас.

Коробка была мокрая понизу и потому расползлась. Он вынимал галеты по одной и складывал стопкой, и стопка вышла в шесть штук, а между пальцами у него набилось крошек, и он ссыпал их себе в жестянку из-под табака. Жестянка была та самая, из которой он мне отдал долг по пари в первый день.

— Шесть, — сказал он. — Плюс сколько-то в ящике у Гвоздя.

— Гвоздя не считаем, — сказала Аглая.

— Гвоздь в судовой роли.

— Гвоздь в судовой роли вторым механиком, — согласилась Аглая. — Второй механик ест то, что первый механик роняет. Дальше.

Дальше была раскладка. Аглая посчитала вслух: десять банок и шесть галет — это двое суток на пятерых по стан-

дартной норме, и это всё. Я слушал и считал вместе с ней, потому что считать я теперь обязан вслух и про себя постоянно, док так велел, но на этот раз сбоя не было.

— И одна вещь, — сказал Тарас.

Он сказал это тем голосом, каким говорит, когда возражает, — один раз, ровно, без нажима.

— Говори.

— Мне нужна вода.

— У тебя есть сто пятьдесят.

— Мне нужна не в горло. — Он вытер руки. — Ввод шины. Двести квадратов, тот, который я вчера доводил на левый борт. Он выгорел на сорок четвёртом импульсе, я вам докладывал. Я его разберу, но там контактная группа спеклась в кашу, там медь с алюминием в один пирог. Мне надо снять окисел и охладить, пока я буду резать. Иначе я его резать не могу, он у меня поплывёт дальше по жиле, и тогда я не восстановлю даже кусок.

— Сколько.

— Четыре литра.

Стало слышно вентилятор.

— Половина, — сказал док.

— Я знаю, что половина. — Тарас смотрел на Аглаю, не на него. — Я поэтому и говорю вслух, а не беру.

— Ты возьмёшь четыре литра, — сказал док, — и через десять суток кто-то из нас будет пить свою мочу через тряпку. Я это видел. Я знаю, как это выглядит и сколько после

этого живут.

— А без тяги мы через десять суток где будем?

— Там же, где сейчас. Живые.

— Мы не живые, мы падаем.

— Это одно и то же, пока никто не остановился, — сказал док и полез в карман за сигаретой, и не закурил, а стал катать её в пальцах.

Тарас поставил кружку. Осторожно, будто она могла расплескаться, хотя там было сто пятьдесят миллилитров и они бы не расплескались.

— Аглая Никитична. Я не про завтра прошу. Я про то, что у нас на борту есть восемь метров кабеля с чужого фрегата и есть дюзы. Тяги ноль. Ноль — это не «мало», это ноль. Если я не соберу ввод, мы не повернём даже на градус. Мы будем идти туда, куда нас несёт, а несёт нас не туда, куда парень слышит.

— А куда нас несёт? — спросил я.

Он посмотрел на меня и не ответил, потому что ответа не было ни у кого. Счисление мы потеряли на одиннадцатые сутки. За Кромкой нет сетки, гирокомпас крутится, как собака за хвостом, и единственное, что у нас есть в качестве стрелки, — это моя челюсть.

Аглая отошла к аварийному баку.

Он стоит у самого шпангоута, сорок литров, серый, с проушиной, и на проушине висит пломба. Пломба капитанская, свинцовая, на проволоке, и оттиск на ней — та же скоба, ко-

торой она подписывает журнал. Я видел, как она её ставила: год назад, на выходе из Тупика, при всех, и сказала тогда одну фразу: «Это не вода. Это время, за которое я успею придумать».

Она взяла пломбу двумя пальцами. Подержала. Отпустила.

— Нет, — сказала она.

— Аглая...

— Нет. — Она обернулась. — Тарас. Я тебе не в ремесле отказываю. Я тебе отказываю в четырёх литрах. Найди, чем ещё снять окисел.

— Спирт весь у дока, и его пол-литра.

— Значит, всухую.

— Всухую я сожгу полотно и пережгу жилу.

— Значит, медленно и всухую, — сказала Аглая. — Люди пьют. Медь ждёт.

Он постоял. Потом свистнул сквозь зубы, коротко, на одной ноте, и это был плохой знак: когда он свистит длинно — он работает, когда коротко — он проглотил.

— Понял, — сказал он.

— Док, — Аглая повернулась. — Норма?

— Сто пятьдесят на человека в сутки. — Док достал тетрадь, клеёнчатую, распухшую, и раскрыл её у самого конца. — При таком воздухе и без физической нагрузки — это граница. Не запас, граница. При работе с железом в машинном — уже ниже границы. Я это пишу и хочу, чтобы это было

записано не только у меня.

— Пишем и у меня. — Аглая протянула руку. — Мел.

Тарас подал ей мел, и она размашисто вывела на переборке: «12-е сут. 07:40. Расход. вода 8 л. Норма 150 мл/чел. НЗ 40 л — пломба. Врач: граница». И под этим провела черту.

— Свидетели, — сказала она. — Врач.

Док расписался мелом. Почерк у него мелкий, без наклона, даже мелом.

— Навигатор.

Я взял мел левой рукой.

Правая висела в косынке, брезентовой, зашитой вчера нитками, и я её уже третьи сутки не чувствовал совсем: ни настила, ни холода, ни собственной ладони. Вены под кожей до ключицы почернели и стояли, как проволока. Док говорит, что подъём остановился, и говорит это осторожно, потому что не знает, отчего он остановился и надолго ли.

Левой я пишу как ребёнок. Буквы вышли крупные, разъезжающиеся, и «Веко» я дописывал, уже упираясь в угол переборки, и последняя «о» получилась поверх кромки, наполовину на другой стенке.

— Годится, — сказала Аглая.

— Это вторая моя подпись за рейс, — сказал я. — Первая была под актом, где написано, что посторонних воздействий не обнаружено.

— Третья, — сказала Аглая. — Ты ещё под курсом расписывался. Тоже левой.

— Верно. Третья.

— Больше не считай. — Она обтёрла руки. — Наверх. Тарас, ввод разбирай всухую, я приду смотреть в четыре. Дан — в одиннадцать к Рине, будете слушать пустоту.

Она пошла к трапу, и ключи с гвоздодёром на её поясе прозвенели вверх по ступеням раньше, чем стих звук её шагов. Тарас взял погнутую отвёртку и стал вскрывать сплюснутую банку концентрата — ту, помятую, свою. Отвёртка соскакивала. Он ругался на снабженцев верфи, поимённо, и половина имён была выдумана.

Я поднял свою кружку и выпил её всю сразу, вместо того чтобы растянуть. Вода была отстоянная, мутная и отдавала резиной шланга.

Она была тёплая.

Это оказалось хуже всего остального.

Связной пост у нас — это не пост, а закуток по левому борту рубки, где помещается стол, стул и человек, если человек небольшой. Рина небольшая. Она сидела боком, подбрав ногу под себя, и вертела ручку самодельного приёмника, который собрала из штатного тракта, куска ферритового стержня и наглости.

— Опоздал, — сказала она, не оборачиваясь.

— На три минуты.

— На четыре. Садись на ящик, стула нет. — Она щёлкнула переключателем диапазона. — Смотри сюда и скажи мне, что ты видишь.

На осциллографе шла линия. Ровная. Не «почти ровная», как бывает в чистом эфире, когда всё равно ползёт травка от собственных цепей, а именно ровная, будто кто-то прочертил её по линейке и забыл убрать.

— Ничего.

— Правильно. Ничего. — Она провела ногтем по стеклу от края до края. — Я тебе объясню, почему это ненормально, а то ты кивнёшь и уйдёшь. Даже когда никто не передаёт, эфир не пустой. В нём есть шум. Кусок его — от звёзд, кусок — от нашей же проводки, кусок — просто от того, что железо тёплое. Тёплое железо шумит, это физика, это нельзя выключить. Понял?

— Понял.

— А теперь смотри. — Она сунула щуп прямо на клеммы динамика, и линия на экране дрогнула и пошла травкой. — Вот наш шум. Вот наше тёплое железо. Оно на месте. — Она вытащила щуп. Линия легла. — А вот снаружи. Снаружи не шумит вообще ничего. Ни звёзды, ни фон, ни грязь. Как будто мы не в пустоте, а в ведре. Внутри ведра.

Она сдула со лба выбившуюся прядь, яростно, снизу вверх. Заколка-антенка в хвосте качнулась.

— Тебе страшно, — сказал я.

— Мне противно. Страшно — это когда стреляют, там хоть понятно, куда падать. А тут у тебя ухо работает, а слушать нечего, и ты сидишь и слушаешь свою кровь.

— Дед?

— Дед молчит семнадцать с половиной часов. — Она сказала это ровно, но пальцем поправила заколку. — С двадцати двух ноль семи. Пятнадцать лет читал прогноз по узлам, а тут просто не пришёл.

Я подвинул ящик и сел так, чтобы видеть развёртку.

— Давай мой такт.

Это мы делали второй раз. Я слушаю кость, стучу пальцем по столу в такт, она гонит развёртку и ловит, попадает ли что-нибудь в эфире в мои удары. Смысл простой: если стук — это радио, он должен где-то на шкале сидеть. Если это не радио — не должен.

Я стучал левой. Удар. Пауза. Удар.

— Одна и восемь, — сказала Рина через минуту. — Держишь ровно. Ты машина.

— Я не держу. Я повторяю.

— Тем более машина. — Она пошла по шкале вниз, медленно, миллиметр за миллиметром, глядя не на приёмник, а на экран. — Ничего. Ничего. Ничего... стоп.

Динамик зашуршал.

Не сигнал — предчувствие сигнала, шорох, будто из другой комнаты. Рина замерла с пальцами на верньере.

— Что там?

— Сто девятнадцатый, — сказала она шёпотом. — Дедова частота. Ну здорово, дед.

Шорох стал плотнее. В нём проступил ритм, и я секунду думал, что это мой такт, а это был не мой такт, это была речь,

растянутая и слипшаяся, как звук из-под воды. Потом она собралась.

«...груз доставлен, приёмка не произведена, встречающих нет. Идём в дрейф на своих. Молчун, регистр Тупик. Конец связи».

Голос был Аглаи.

Я сидел и не понимал, что у меня внутри пошло не так. Сначала показалось, что это запись — что Рина случайно врубила свою ленту. Я даже посмотрел на катушки. Катушки стояли.

— Это же... — Рина не договорила.

Она перемотала верньер на волос и вернула. Шорох. И снова, с того же места:

«...груз доставлен, приёмка не произведена, встречающих нет...»

— Это вчерашнее, — сказала она. Голос у неё пошёл вверх. — Это вчерашнее, Дан. Это она передавала перед тем, как мы ушли за Кромку. В служебный, в никуда, для протокола. Я сама набирала.

— Когда?

— Вчера. — Она схватила журнал, ткнула пальцем в строку и стала считать по столбцу времени, шевеля губами, и я видел, как у неё сбивается счёт, и она начинает сначала. — Семнадцать. Восемнадцать. Восемнадцать часов назад.

Динамик шуршал. За шорохом голос Аглаи начал заново, с самого начала фразы, и произносил её точно так же, с той

же паузой перед «встречающих нет».

Я смотрел на развёртку. Пакет шёл ровный, чистый, с нормальной посылкой, как будто его передавали прямо сейчас, из точки, до которой можно доплюнуть.

— Он не отражённый, — сказала Рина. Она уже поняла раньше меня и говорила быстро, глотая. — Отражённый был бы рваный, он бы шёл через переотражение, он бы плыл по частоте. Этот не плывёт. Он не эхо от железа. Он... его кто-то передаёт. Целиком. Как свой.

— Восемнадцать часов, — сказал я.

— Ровно восемнадцать. Я потом сверю по ленте, но ровно. Мы посмотрели друг на друга.

— Рина. А если ты сейчас скажешь в эфир слово?

Она отдернула руку от тумблера, как от горячего.

— Я подумала об этом раньше тебя, — сказала она. — И я не буду. У нас радиомолчание. И вообще... — Она посмотрела на динамик. Динамик фонил, и на решётке дрожала пыль. — И вообще, если оно возвращает то, что мы бросили, я не хочу знать, сколько ещё оно всего держит. Мы за эти двенадцать суток много чего сказали вслух.

Голос Аглаи начал третий раз.

Рина сдернула тумблер ладонью, всей, наотмашь. Стало тихо, и в тишине было слышно, как гудит регенератор двумя палубами ниже.

Она сидела, положив руку на выключенный тумблер, и не убирала.

— Записала? — спросил я.

— Записала. Всё записала. — Она сглотнула. — Дан, я всю жизнь хотела идеальный сигнал. Чистый, без грязи. Я его нашла. Он мне не нравится.

В машинное я спустился без двадцати четыре, потому что в машинном стук слышно лучше.

Это не мистика, это железо. Корабль — это набор жёстких связей, и по силовому шпангоуту левого борта звук идёт как по камертону. Я прикладываюсь к нему виском и ловлю не ухом, а костью, и разница огромная: в блистере я слышу «примерно оттуда», а здесь — почти линию.

Нижний ярус завален. Тарас разложил на брезенте всё, что вынул из ввода: обугленную колодку, шпильки, кусок шины двести квадратов с оплавленным торцом. Медь на срезе была не красная, а серая с зелёным, и вокруг спёкся комок изоляции.

Он резал полотном, всухую, как велено. Полотно шло тяжело, и он останавливался каждые десять движений, чтобы дать металлу остыть, и на этих остановках дул на срез.

— Не помогает, — сказал он мне, не здороваясь. — Я дую, а оно смеётся.

— Много осталось?

— Резать — на час. Толку — не знаю. — Он отёр лоб запястьем, потому что ладони были в саже. — Тут вопрос, есть ли под кашей живая жила. Если есть хоть три четверти сечения — я подкину перемычку, и мы получим импульсы.

Короткие. Не сорок четыре, штук пять. Но получим.

— А если нет?

— А если нет, то у нас в трюме лежит восемь метров прекрасного кабеля, — сказал он, — и мы им можем повеситься по очереди.

На инструментальной полке стояла банка. Восемь дырок, пробитых шилом, и внутри Гвоздь.

Он спал. Он всегда спит днём: ночью скребёт, днём лежит на боку в углу банки, поджав ноги, и его не видно за краем. Тарас его кормит крошками и врёт, что не кормит.

Я подошёл к шпангоуту с левого борта, снял косынку с плеча, чтобы не мешала, и прижался к металлу виском.

Холод я почувствовал левой щекой. Правой половиной лица я его тоже почувствовал — ещё чувствую, до сих пор.

Стук пришёл сразу.

Он был там же, где вчера: спереди и чуть вниз, будто источник лежал под нами градусов на пятнадцать по носу. Я стоял, держал его, отсчитывал такты и раскладывал сектор так, как учил отец: не ищи точку, ищи, откуда не приходит. Пустота вокруг сигнала точнее самого сигнала.

— Держу, — сказал я. — Как вчера.

— Хорошо, — сказал Тарас и снова взялся за полотно.

Пришёл док. Он всегда приходит в машинное так, будто зашёл покурить, и всегда с тетрадью в кармане.

— Руку не убирай, — сказал он и взял меня за левое запястье.

Он считал, глядя мимо, на брезент с железками.

— Девяносто два.

— Много?

— Для тебя — обычный день. — Он отпустил запястье и повернул мне подбородок пальцами, разглядывая шею справа. — Стоит.

— Что стоит?

— Граница. — Он провёл ногтем, не касаясь, по линии над ключицей. — Вторые сутки на одном месте. Я тебе не говорю, что это хорошо. Я тебе говорю, что оно стоит.

Он достал тетрадь, что-то вписал, прикрыв верх страницы большим пальцем, и убрал.

И тут заскрёбся Гвоздь.

Он не просто заскрёбся. Он забился. Банка запрыгала по полке, жестью о жечь, и звук был мелкий, злой, частый — он бросался на крышку, падал, снова бросался, и это шло непрерывно, без пауз, каких у него не бывало ни разу.

Тарас поднял голову.

— Э. Э, ты чего.

Он потянулся к банке. Взял её, поднёс к лампе, заглянул в дырки.

— Днём. Он днём не встаёт. Он третий месяц днём не встаёт, ни разу, я по нему часы ставил. — Тарас потряс банку, и это было глупо, и он сам это понял. — Слышь, коллега, ты бы...

Я хотел ему сказать, чтобы он замолчал.

Не успел.

Удар в челюсть пришёл вовремя, по расписанию, ровно через одну и восемь после предыдущего. Только пришёл он не спереди.

Он пришёл слева и сверху, наискось, через висок, и вошёл так, что у меня дёрнулась голова. Я отлепился от шпангоута, шагнул на месте и приложился обратно, уже другой стороной, и поймал его снова — там же. Слева. Выше. И ещё выше линии носа, куда я не смотрел ни разу с той минуты, как он появился.

Такт был тот же. Одна и восемь. Он не сбился ни на десятую.

Не туда. Он не мог не туда.

— Дан, — сказал док.

— Тихо.

Я перебрал сектор, как перебирают по стене в темноте: вперёд, вниз, влево, вверх. Спереди было пусто. Спереди было ровно и глухо, и это оказалось хуже, чем если бы стук вообще исчез, потому что исчезнуть он мог по сотне причин, а уйти вбок — только по одной.

— На сколько? — спросил док. Он уже держал меня за плечо.

— Градусов двадцать пять. — Я оторвался от металла. — Влево и вверх.

— Ты уверен?

— Он не может уйти, — сказал я. — Я его двое суток

держу, с той минуты, как он вошёл в порт. Он стоял, как гвоздь в доске. Он не уходил ни разу.

— Дан.

— Двадцать пять, — сказал я громче, чем хотел. — Влево и вверх. Он уходит.

За спиной звякнуло. Тарас уронил ключ на двадцать два — тот упал на настил и покатился между стоек, и никто за ним не пошёл.

— Мы падаем на него, — сказал Тарас. — Мы двое суток падаем на него. У нас нет тяги. Ты понимаешь, что ты сейчас сказал?

Я понимал.

Мы шли на единственную точку в пустоте, где что-то било ровным тактом, тем же с первой минуты, и шли на неё без хода, на голой инерции, потому что берег не двигается, а корабль двигается, и надо только не промахнуться мимо берега.

Берег двинулся сам.

Док взял меня за шею — не как берут человека, а как берут материал. Пальцы у него легли справа, под челюстью, на почерневшую жилу, и я этого не почувствовал, но увидел по его лицу.

— Стой, — сказал он. — Не двигайся.

— Что.

— Она у тебя дёргается. — Он смотрел на мою шею, и говорил ровно, и катал в свободной руке незажжённую си-

гарету. — Не пульс. Пульс девяносто два, я его только что взял. А эта дёргается сама по себе.

— С каким интервалом? — спросил я.

Он посмотрел мне в глаза. Помолчал.

— С твоим, — сказал он.

В банке на полке бился Гвоздь.

Глава 3. Две минуты

Гайка была на восемь, и держать её приходилось зубами.

Я прижал шину коленом к верстаку, поймал шпильку одной рукой, наживил и провернул на два оборота. Резьба пошла косо. Пошла, села на перекося и встала, и я это почувствовал раньше, чем увидел: ход дошёл до сопротивления, которого в этом месте быть не должно.

— Криво, — сказал Тарас, не оборачиваясь.

— Сам знаю.

— Знаешь он. — Механик держал в правой руке лампу на струбине, светил мне под локоть и жевал что-то всухую. — Верфь Тупика, вторая размерность. У них шпильки идут с завалом на полградуса, весь шестой пролёт такой. Я им говорил. Мне сказали: работает же.

Я вывернул гайку обратно, поймал её губами, чтобы не улетела, и начал заново. Правая висела на брезентовой козынке у груди, тяжёлая, как чужая. Четвёртые сутки. Ниже ключицы во мне ничего не было: ни настила под кожей, ни холода стали, ни самой кисти. Я мог смотреть на неё и не понимать, что смотрю на своё.

Шайба выскользнула.

Она ушла из-под большого пальца, скользнула по вороту комбинезона и провалилась внутрь, за шиворот, и легла где-то на лопатке, между тканью и кожей, — там, где я чувство-

вал.

Я сказал всё, что об этом думал.

Тарас заржал. Заржал коротко, оборвал себя, поставил лампу и молча полез мне за шиворот двумя пальцами, будто вынимал занозу из машины.

— Держи. — Он положил шайбу на верстак. — Не благодари. Мне за это в судовой роли отдельная строка положена.

— Ты в судовой роли вторым механиком шелкуна вписал.

— И он справляется. — Тарас кивнул на полку.

Банка стояла на полке, восемь дырок в крышке, и в банке спал Гвоздь. Спал он как всегда: подобрав лапы к брюху, кривым зубом наружу, лысым боком к жести. Ночью он работал, днём отсыпался, и сегодня в пятнадцать сорок он этот порядок первый раз за три месяца сломал.

Свет от диода на струбчине был тусклый и жёлтый, и от него резало глаза. Тарас держал его на минимуме ради батарей. В машинном пахло сукном и горелой медью; медью тянуло с тех пор, как мы спалили ввод аварийной шины, и уходить этот запах не собирался.

— Ещё раз, — сказал Тарас. — И не дави. Ты левой давишь, как правой. Левая слабее, она тебе врёт про усилие.

Я наживил в третий раз.

На этот раз резьба пошла ровно, и я довёл гайку до конца пальцами, а потом взял ключ, зажал шину коленом крепче и потянул на себя. Ключ соскочил. Костяшки прошли по кромке кронштейна, содрало кожу с двух, и я успел поду-

мать, что содрало на левой — единственной руке, которой я ещё что-то делаю.

— Стой. — Тарас положил лампу, наклонился и взял зубами край моей косынки, оттянул её вниз, чтобы правая не мешалась под локтем. Так и держал, сквозь зубы: — Тяни. Оффа тяни.

Я потянул. Гайка села.

Мы собирали обходной контур на резервный ввод маневровых. Не потому, что была тяга: тяги не было ни грамма, дюзы молчали вторые сутки, и корабль просто шёл по инерции туда, куда его толкнули последним импульсом. Мы собирали его, потому что если однажды тяга появится, а ввод будет спёкшийся, то она появится в никуда. Тарас говорил про это как про больного: контур второго раза не выдержит, но контур можно обойти, если найти, где именно у него сгорела жила.

Он нашёл её через полчаса.

— Вот она. — Он вытянул из жгута кусок провода, ободрал изоляцию ногтем и поднёс к лампе. Медь под изоляцией была чёрная и хрупкая, и на изгибе она рассыпалась в труху прямо у нас на глазах. — Видал? Она даже не перегорела. Она обуглилась изнутри. Ток шёл, а жила уже была мёртвая. Вот тебе весь наш корабль в одном проводе.

Он сказал это без всякого веселья, и свист сквозь зубы у него не появился ни разу за весь вечер.

Потом он достал из кармана сухарь, оглядел его, макнул

край в открытую банку с чистой редукторной смазкой и откусил.

Я смотрел.

— Что? — сказал он с набитым ртом. — Она пищевая по составу почти. Жир и жир.

— Тарас.

— В Тупике так все делали, кто на стапеле ночевал. — Он прожевал. — Не вкусно. Зато брюхо думает, что его покормили, и часа два не орёт. Хочешь?

— Нет.

— И правильно. Тебе док не разрешит. — Он макнул второй раз. — Мне он тоже не разрешит. Поэтому я ем при тебе, а не при нём.

Я взял ключ на четырнадцать, чтобы дотянуть вторую пару, и уронил его.

Ключ ударился о настил, встал на ребро и покатился. Я успел его увидеть, но не успел ничего, потому что тянуться за ним я мог только левой, а левой я в тот момент держал шину. Он докатился до подпалубного щелевика — узкой прорези между настилом и стойкой, куда за десять лет ушло всё, что на этом корабле когда-нибудь падало, — и провалился.

Внизу негромко звякнуло. Далеко.

— Всё, — сказал Тарас. — Он у бога.

— Достанем.

— Достанем, когда встанем на стапель. — Он посмотрел на щель, потом на меня. — Дан. Ты у меня третий ключ за

вечер роняешь. Тебе не стыдно, тебе неудобно, это разное. Я не про то говорю, что ты калека, я про то говорю, что тебе надо другой хват.

— Какой другой.

— Такой, чтобы инструмент лежал в руке, а не висел. — Он вытер ладони о бедро. — Смотри.

И он показал мне, как берут ключ, когда работать можно одной рукой: не поперёк, а вдоль ладони, мизинцем к головке, чтобы, если сорвётся, он падал в ладонь, а не из неё. Показал, как держат гайку в сгибе указательного, а не в щепоти. Как ставят колено под деталь, чтобы колено было третьей точкой опоры, и как прикусывают ветошь, чтобы освободить рот для шайбы.

Я делал за ним. Раз за разом, минут двадцать, при жёлтом свете на минимуме, в тесноте между верстаком и переборкой, и у меня начало получаться.

Я и не думал никогда, что это можно объяснить словами.

— Ты откуда это знаешь? — спросил я.

— Мужик у нас в шестом пролёте был. Ему прессом кисть взяло. — Тарас поднял банку с Гвоздём, поболтал в ней крошкой, поставил обратно. — Работал до самой пенсии. Быстрее меня работал, между прочим. Одной левой и коленом.

— И что с ним стало?

— Ничего. Он и сейчас там.

Дальше он не сказал ничего, потому что заскрёбся Гвоздь.

Он не проснулся, не завозился и не пискнул. Он ударил в жёсть сразу, в полную силу, как будто в банке всё это время сидел не спящий зверёк, а взведённая пружина. Банка подпрыгнула на полке, пошла к краю, Тарас поймал её ладонью. Внутри било непрерывно: мелко, зло, часто, без пауз, металл о металл, и в этом звуке не было ничего похожего на его обычную ночную возню.

— Началось, — сказал Тарас.

Он не стал его успокаивать. Он поставил банку в трубку, чтобы не свалилась, вытер руку и снял с гвоздя у щита хронометр — тот самый, с треснувшим стеклом, который у него висит в машинном лет пять.

— Что ты делаешь?

— Считаю. — Он щёлкнул кнопкой. — Сегодня в пятнадцать сорок он вот так же забился. И через две минуты у тебя стук ушёл вбок. Я тогда не засёк. Сейчас засеку.

Секундная стрелка пошла по кругу.

Гвоздь бился. Я стоял, прижав шину коленом, забыв про неё, и слушал, и никакого стука в челюсти у меня не было — он приходил сам по себе, раз в одну и восемь, слева и сверху, наискось через висок, и приходил он ровно, и в нём ничего не менялось.

— Минута, — сказал Тарас.

Аварийный вентилятор регенератора шелестел под настилом. Девятнадцать процентов кислорода: дышать можно, работать тяжело, и через час работы начинает болеть за глаза-

ми. Я поймал себя на том, что дышу глубже, чем надо.

— Полторы.

В банке скребло.

— Что должно случиться? — спросил я.

— Не знаю. — Тарас смотрел на стрелку. — Что-нибудь.

Интерком на переборке хрюкнул и ожил на середине слова.

— ...ан. Тарас. — Голос Рины пришёл плоский, сдавленный узкой линией. — У меня приёмник лёг.

Тарас нажал кнопку хронометра.

— Сто двадцать, — сказал он.

— Что? — сказала Рина.

— Сто двадцать секунд. Две минуты. — Он держал хронометр у самого лица, у самой лампы, и смотрел на него так, как смотрят на прибор, который показал не то, что от него ждали. — Повтори, что у тебя.

— У меня приёмник лёг. Весь. Насухо. — В её голосе было то, что появляется у неё, когда она снимает наушник. — Слушай, там не тишина была, там ноль был и до этого, четвёртые сутки ноль. Но ноль — это когда линия ровная. А сейчас она не ровная, она никакая. Приёмник не слышит даже себя. Я на него подала свой контрольный тон, он его не берёт. Он живой, питание есть, лампа горит, он просто оглох.

— Надолго?

— Откуда я знаю? Он тридцать секунд как оглох.

Тарас перевёл взгляд на банку.

Гвоздь всё ещё бился, но уже тише, с паузами, будто устал. Я подошёл и посмотрел в дырки. Он метался по кругу, тыкался мордой в стык крышки, снова метался и опять тыкался — в одно и то же место, будто там была щель, о которой знал только он.

— Рина, — сказал я в интерком. — Засеки, когда он оживёт.

— Он оживёт?

— Я не знаю. Засеки.

Она оживила его через одиннадцать минут. К этому времени Гвоздь уже спал, свернувшись у стенки банки, как ни в чём не бывало, и лысый бок его поднимался ровно и медленно.

Тарас положил хронометр на верстак, циферблатом вверх, и долго на него смотрел.

— У нас на борту, — сказал он наконец, — приборов на четыре миллиона. Гирокомпас плывёт. Сетки нет. Эфира нет. Счисления нет. — Он ткнул пальцем в банку. — И один мусорный шелкун, которого я три месяца ловил на крошку, знает про эту дыру за две минуты до того, как узнаём мы.

— Может, совпадение.

— Два раза подряд с одинаковой цифрой — это не совпадение, это устройство. — Он взял тряпку и стал вытирать чистые руки. — Ты, главное, капитану скажи так, чтобы она не решила, что я опять на что-то поспорил.

Он ушёл спать в час.

Я остался, дотянул вторую пару гаек левой и коленом, по его науке, и уронил ключ только один раз.

Кубрик к ночи выстывает. Отопление режут вместе со светом, и к двум часам изо рта идёт пар, если дышать в сторону лампы. Койка дока у переборки, вторая — моя, ящики с неё он сдвинул ещё тогда, четыре года они там лежали. Он спал сидя, спиной к переборке, как всегда, и его храп шёл по своему рисунку: два такта, пауза, три такта. По этому рисунку на борту определяют, кто спит.

Я лёг на спину, закрыл глаза и потянул Ключ.

Это не рычаг и не кнопка. Это как напрячь мышцу, которой у тебя раньше не было: находишь её изнутри, вспоминаешь, каким было напряжение в прошлый раз, и повторяешь. Отзывается сразу. Синий свет пошёл из-под кожи предплечья, слабый, ровный, и в темноте кубрика он лёг на переборку голубым пятном.

В правой руке появилось тепло. Нитка тепла от локтя к запястью — единственное, что я в ней чувствовал за четверо суток.

Я потянулся сквозь борт.

Раньше это выглядело так: сетка. Нити маршрутов, раскалённые линии, узлы, развязки — Паутина лежит вокруг корабля, как разметка на стапеле, и её видно даже с закрытыми глазами. Так было ещё сутки назад, по ту сторону Кромки. Так было всю мою жизнь.

Теперь там не было ничего похожего.

Вместо линий шла зыбь. Как смотришь на горячий воздух над плитой и видишь, что за ним всё едет и плывёт: предметы на месте, а картинка врёт. Только здесь плыла не картинка. Плыло само пространство, слоями, медленно, и слои шли внахлёст, и в каждом из них расстояние было своё. Я тянулся до ближней складки — она отходила. Тянулся дальше — она оказывалась ближе, чем я думал вначале.

Ни одной нити. Ни одного узла. Ничего, за что берётся навигатор.

Я нажал сильнее.

В глазах пошла рябь по краю, и в кости челюсти зазвенело — тонко, изнутри, как звенит зуб на морозе. Правая рука грелась уже до плеча, и это тепло мне не нравилось, потому что я знал, чем оно платится. Я вдавил ещё, потянулся туда, где по всем правилам должен был идти хоть какой-то остаток сети, хоть обрывок, хоть чужой след, и в этот момент передо мной встала строка.

Она не была написана на переборке или на веке. Она встала прямо в том месте, куда я смотрел изнутри, поперёк всего, и читалась сразу вся, целиком, как читается знакомый чертёж:

Слой II Привратник: заблокирован. Порог недоступен — ищи, где граница тоньше.

Та же самая. Слово в слово. Она стояла передо мной, когда я держал замок в створе на Точке-12 и жёг себе руку до ключицы, и я тогда решил, что это ответ. Что это адрес. Мы

развернулись на тридцать четыре градуса и ушли за Кромку, потому что я прочитал в ней указание, и весь этот корабль сейчас дрейфует без тяги, без воды и без карты потому, что я прочитал в ней указание.

Я потянул ещё раз, чтобы она сдвинулась. Чтобы она хоть на слово стала другой.

Она стояла.

Ни буквы в сторону. Ни на волос.

— Дан.

Я не слышал, как он проснулся. Он и не просыпался, наверное: он держал мою левую руку у себя на ладони и смотрел на ногти, и синий свет из-под моей кожи освещал ему лицо снизу.

— Смотри, — сказал он ровно.

Я посмотрел. Ногти были синие. Не от Ключа — Ключ давал холодный свет, а тут был другой цвет, тёмный, под ногтевой пластиной, и подушечки на глазах отходили от белого к серому.

Я отпустил.

Строка ушла. Зыбь ушла. Свет под кожей погас, и правая рука сразу омертвела вся, целиком, будто в неё налили песка, и кубрик стал очень тёмным и очень тесным.

Док не выпустил мою руку. Он нашёл пульс на запястье, поднял глаза к часам над койкой и молчал секунд двадцать.

— Сто восемь, — сказал он. — Лежал. Не двигался. Сто восемь.

— Я не...

— Сто, — сказал он. — Назад по семь.

— Милош.

— Сто. Назад по семь.

— Сто. Девяносто три. Восемьдесят шесть. Семьдесят девять. — Я остановился. В голове было ясно, и я точно знал, что делаю: отнимаю семь. Я знал, сколько будет. Я держал это число. — Семьдесят два.

Дальше не пошло.

Не так, что я забыл. Я его видел, это число, оно лежало передо мной, и от него надо было отнять семь, и я знал, как это делается, знал с шести лет, и оно не отнималось. Я лежал в темноте, смотрел в подволок и не мог отнять семь от семидесяти двух.

— Достаточно, — сказал док.

— Шестьдесят пять, — сказал я.

— Достаточно, Дан.

Он отпустил мою руку, встал, зажѣг лампу на гусаче на самый малый и сел на край своей койки. Достал тетрадь. Клеѣнчатая, распухшая от вложенных бумажек, углы обтѣрты добела. Открыл ближе к концу и стал писать мелким почерком без наклона.

— Ты пишешь дату и время, — сказал я.

— Пишу.

— А слово?

Он не ответил. Он дописал, посмотрел на графу, где у него

всегда стояло одно слово против каждой даты, — задержка, провал, рука, — и оставил её пустой. Второй раз подряд.

— Я должен был проверить, — сказал я. — Мы идём туда, куда я всех повёл. Я должен был посмотреть, куда я всех веду.

— Ты и посмотрел. — Он закрыл тетрадь. — Пульс сто восемь лёжа. Счёт встал на семидесяти двух. Пальцы левой синеют за две минуты работы. Хочешь, я тебе скажу, что это значит? Это значит, что твоя правая рука кончилась, и он взялся за левую.

— Он не берёт руку. Он идёт по нервам.

— Он идёт по тебе. — Док достал незажжённую сигарету и стал катать её в пальцах. — Я тебе четыре дня говорю одно и то же: он стоит. Граница стоит у ключицы вторые сутки, и я не знаю почему, и мне это нравилось. А сегодня ты его сам подтолкнул.

Я молчал.

— Слушай меня внимательно, — сказал он. — Больше ты его не трогаешь. Ни на секунду, ни на пробу, ни ради отца. Тронешь — я иду к капитану, и ты лежишь в лазарете под ремнём, и она мне разрешит, потому что за борт у неё людей выпускает врач. Ты это знаешь.

— Ты не понимаешь, что там.

— Я не понимаю, — согласился он. — И ты не понимаешь. Разница между нами в том, что я от этого не синею.

Он лёг обратно, спиной к переборке. Через минуту он ска-

зал в темноту, не открывая глаз:

— Что ты видел?

— Ту же строку. Слово в слово. — Я смотрел в подволок.

— Она не изменилась.

Он ничего на это не сказал. Он катал сигарету ещё долго, и я слышал этот сухой шорох, пока не заснул.

Носовой блистер выстывает быстрее всего.

Это пузырь из триплекса в самом носу, три метра в диаметре, туда лазают через люк на четвереньках. Раньше там сидел сигнальщик, теперь там не сидит никто, потому что смотреть не на что. К шести утра на рамах намерзает конденсат, толстыми серыми валиками, и стекло по краям в инее, а в середине чистое.

Аглая была уже там.

Она сидела на откидной скамейке, спиной к люку, в комбинезоне поверх всего, что у неё есть, с ключами и гвоздодёром на поясе. Все шкалы в блистере были погашены. Горел один малый плафон, и тот она прикрутила почти в ноль.

— Батареи, — сказала она, не оборачиваясь. — Садись и не трогай тумблеры.

Я сел.

За стеклом было черно.

Я всю жизнь смотрел в космос и всю жизнь видел там свет: звёзды, туманности, отсветы, чужие огни, хоть что-нибудь. Здесь свет кончился. Не темно, как ночью, — темно, как в закрытом ящике. Глаз не находил ни одной точки, чтобы за

неё зацепиться, и от этого он начинал придумывать: тебе кажется, что вон там серое пятно, ты переводишь взгляд, и пятно уезжает вместе с ним, потому что оно у тебя внутри глаза, а не снаружи.

Двадцать минут я привыкал.

— Ты чего пришёл? — спросила Аглая.

— Посмотреть.

— На что?

Я не ответил сразу. Она не стала повторять вопрос: она перебрала ключи на поясе, добралась до последнего и остановилась.

— Вчера ночью я смотрел через борт, — сказал я. — Ключом. Один раз. Док знает, он мне запретил.

— И?

— И я хочу проверить глазами то, что видел оттуда. Без Ключа. Просто посмотреть.

Она молчала долго. Потом отвинтила крышку фляги, завинтила обратно, не отпив.

— Смотри, — сказала она.

Я прижался лбом к триплексу.

Он был ледяной, и от виска по нему пополз мутный овал, и я стёр его рукавом. Холод входил в кость и шёл дальше, до челюсти, и в этом холоде отцовский стук был слышнее: раз в одну и восемь, слева и сверху, наискось. Ни такта, ни угла он не менял с пятнадцати сорока, когда ушёл вбок.

А потом я увидел границу.

Она шла наискось через всё стекло, сверху слева вниз направо, и заметить её можно было только одним способом: не смотреть на неё прямо. Прямо там ничего нет. Но если смотреть чуть в сторону, краем, то видно, что чернота слева и чернота справа — разного качества. Слева она мёртвая и плоская. Справа она глубокая, и в ней что-то очень медленно едет, как едет картинка за горячим воздухом. Та самая зыбь, которую я вчера трогал Ключом.

— Ты её видишь, — сказал я.

— Рина её нашла третьего дня. — Аглая под села ближе и посмотрела туда же, не прижимаясь. — Я по ней снос считаю. Больше не по чему. — Она вытянула руку и приложила два пальца к триплексу, к какому-то своему ориентиру. — Вчера в это же время она была вот тут. Сейчас на два пальца ниже. Значит, нас несёт, и несёт ровно, и по крайней мере это честно.

— Куда?

— Вправо и вниз относительно неё. — Она убрала руку. — Твой стук ушёл влево и вверх на двадцать пять. Складываем одно с другим и получаем, что мы не к нему падаем. Мы мимо него проходим.

Я это уже сложил. Ночью, до Ключа.

Мы сидели молча минут десять. В блистере было слышно, как далеко под настилом шелестит вентилятор регенератора, и как капает с рамы оттаявший конденсат, и как звякает у неё на поясе связка, когда она переносит вес.

— Дан, — сказала она. — Ты меня не спросил ни разу, зачем я сюда хожу.

— Батареи?

— Я в рубке сижу без света точно так же. — Она смотрела в стекло. — Я хожу сюда, потому что там снаружи ничего нет, а я всё равно смотрю. Двадцать два года назад твой отец мне сказал одну вещь. Он сказал: если долго смотреть на пустое место, оно рано или поздно шевельнётся, и вот тогда его надо считать.

— Он шутил?

— Твой отец никогда не шутил про работу.

И в эту минуту граница пошла.

Я успел подумать, что это опять глаз придумывает. Что я двадцать минут пялился в черноту и заработал себе картину. Но Аглая рядом со мной перестала дышать, а её пальцы остановились на связке.

Зыбь раздвигалась.

Она расходилась в стороны от своей диагонали — плавно, обеими сторонами сразу, без рывка и без вспышки, как расходятся края чего-то мягкого. Полоса, которая была шириной в два пальца на вытянутой руке, стала в ладонь. Стала в две. Чернота внутри неё была всё той же глубокой чернотой, и в ней всё так же медленно ехало, и теперь этого ехало больше.

— Сколько это? — сказал я. — В глазах.

— Не в глазах. — Голос у Аглаи был ровный. — Считай

по краю стекла. Она за раму зашла.

Граница раздвинулась и встала.

Она держала паузу. Я досчитал до четырёх, и всё это время ничего не менялось, ни на волос, а потом края пошли обратно — так же плавно, с той же скоростью, без остановки посередине, — и сошлись ровно там, где были.

И встали.

А потом опять начали расходиться.

Я оторвал лоб от триплекса и сел прямо. Пятно от виска медленно затягивалось инеем.

Никто ничего не включал. У нас на борту не было тока даже на обзорные шкалы. Коршун стоял в двенадцати километрах за кормой и вторые сутки не зажигал огней. В радиусе, который я мог достать хоть чем-нибудь, не было ни одной машины, ни одного человека и ни одного прибора, который мог бы это сделать.

Оно расходилось и сходилось само. Ровно. Спокойно. С одинаковой паузой на разводе и с одинаковой на сходе.

— Аглая, — сказал я. — Она дышит.

Капитан не ответила.

Она сидела рядом со мной в замороженном пузыре, в темноте, положив обе ладони на колени, и смотрела, как чужая пустота за бортом набирает воздух и отдаёт его обратно.

Ровно. Спокойно.

Как дышат во сне.

Глава 4. Двадцать литров

Динамик на связном посту ожил в четверть десятого, и это было неправильно с первого звука.

Рина сидела вполоборота к панели пассивного пеленга, водила пальцем по шкале и что-то бормотала себе под нос. Я стоял у неё за плечом, потому что стоять больше было негде: в рубке горела одна дежурная лампа, обзорные шкалы Аглая погасила ради батарей ещё позавчера, и весь свет собирался в одном пятне на её панели. Динамик щёлкнул, зашипел, и в шипении завёлся человеческий голос. Рина отдёрнула руку от шкалы так, будто панель ударила её током.

— Молчун, — сказал голос. — Это Коршун. Ответьте.

Никаких кодов. Никакого номера предписания, никакого формуляра, никакого «служба маршрутов вызывает борт регистратора Тупик». Гильдия так не разговаривает. Гильдия сначала зачитывает тебе, кто ты по бумагам, и только потом переходит к делу.

— Она в открытую, — сказала Рина. Голос у неё сел до шёпота, хотя нас никто не слышал. — Дан, она в открытую. Без всего.

Паузы между его словами я считал раньше, чем сообразил, что делаю. Привычка последних дней: считать всё, что повторяется. Стук отца шёл с интервалом в одну и восемь десятых секунды, влево и вверх на двадцать пять градусов

от носа, и я ловил его теперь даже в скрипе переборок.

Капитана привёл её собственный пояс. Ключи и гвоздодёр зазвенели в проходе раньше, чем она сама вошла в рубку.

— Пишешь? — спросила Аглая.

— С первого слова.

— Дай на динамик громче. — Аглая встала за спинку кресла и взялась за неё обеими руками. — Отвечать буду я.

Рина щёлкнула тумблером и прижала его сверху двумя пальцами, будто он мог отскочить обратно.

— Молчун слышит, — сказала Аглая.

Пауза в динамике вышла длинная. Я успел заметить, что Рина зажала шнур наушника между зубами и медленно тянет его на себя.

— Бер, — сказал голос. — У вас нет воды.

Капитан не пошевелилась. Кожух привода под её левой рукой третий день стоял холодный, тока на нём не было, но держала она руку там же, где всегда.

— У нас всего хватает, — сказала Аглая. И тут же закашлялась. Сухо, коротко, в кулак, три раза подряд.

В динамике было слышно, как Дорн этот кашель дослушала до конца.

— Восемь литров расходной, — сказала она. — Это было вчера утром. Норму вы поставите сто пятьдесят на человека, потому что двадцать лет назад вы её ставили сто пятьдесят на человека. Значит, сейчас у вас семь с небольшим и аварийный запас за пломбой, который вы не вскрыете, пока кто-

нибудь не начнёт падать. Я не угадываю, Бер. Я считаю.

Голос у неё был не тот, что на станции. Тогда он резал ровно, как измерительный инструмент. Сейчас в нём была усталость, которую не убирают ни фильтры, ни выучка: человек говорил на четвёртые сутки без сна и не считал нужным это прятать.

— Что ты хочешь, — сказала Аглая. Без вопросительного знака.

— Двадцать литров чистой воды. Стандартная канистра в оплётке, пломба целая, вскрыете при мне.

Рина повернула голову. Я увидел, как у неё дрогнули брови.

— За что.

— Двенадцать часов телеметрии вашего навигатора.

Я стоял ровно и смотрел в погашенную шкалу перед собой. Правая рука висела в брезентовой косынке, и я её не чувствовал совсем: четвёртый день от кисти до ключицы, ноль. Выше плеча оставалась притуплённая полоса кожи, и она отозвалась первой: стянуло, как от воды за воротник. Единственный кусок меня, который ещё умел пугаться сам, без моего участия.

— Пульс, проводимость, энцефалограмма, — продолжала Дорн. — Двенадцать часов записи с шагом в минуту. Носитель под наблюдением ничего не теряет, Бер. Он и так под наблюдением. Разница только в том, что у меня будет кри-
вая, а у вас будет вода.

Тут Аглая наконец отпустила спинку кресла.

— Ты предписание своё зачти сначала, — сказала она. — Номер, дату, подпись. Как положено. Или у тебя бумага кончилась?

Молчание в динамике длилось секунд восемь. Я успел услышать, как далеко в машинном звякнуло железо: Тарас там пилил шину всухую, потому что воды на охлаждение ему не дали.

— У меня нет предписания, — сказала Дорн.

Рина медленно вынула шнур изо рта.

— Со Спицы мне приказали лечь на курс и идти под трибунал, — сказал голос ровно. — Это было четверо суток назад, до Кромки. С тех пор я не выходила на связь со Спицей, а Спица не выходит на связь со мной, потому что здесь никакой связи нет ни у кого. Я иду за вами без приказа. Я запрашиваю телеметрию без приказа. Я отдаю воду со своего борта без приказа. Всё, что я сейчас делаю, я делаю сама, и отвечать за это буду сама.

Аглая отвинтила крышку фляги на поясе. Не поднесла, не отпила, завинтила обратно. Фляга у неё была пустая со вчерашнего дня, и она это знала лучше всех на борту.

— Сколько у тебя воды, Дорн?

— Достаточно, чтобы отдать двадцать литров.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который я тебе дам.

Капитан посмотрела на меня. Первый раз за весь разго-

вор. Я не понял, чего она ждёт, и на всякий случай пожал одним плечом, левым.

— Передача с борта на борт, — сказала Аглая в динамик. — Без стыковки. Трос, лебёдка, ручная выборка. Ближе восьмисот метров ты ко мне не подойдёшь.

— Восемьсот, — сказала Дорн. — Согласна.

— И ещё одно. — Аглая наклонилась к самому микрофону. — Если у тебя в этой канистре или в этом кристалле что-нибудь лежит помимо того, о чём мы договорились, я не буду выяснять, что именно. Я просто пущу её за борт вместе с водой, и мы умрём от жажды, а ты останешься смотреть.

— Я знаю, — сказала Дорн. — Четырнадцать двадцать. Я подойду сама.

Динамик щёлкнул и умер.

Рина сняла палец с тумблера. На шнуре её наушника осталась вмятина от зубов, глубокая, до самой меди.

— Двадцать литров, — сказала она в пустоту. — Дан, это по норме почти месяц. Месяц жизни на пятерых.

Я хотел ответить что-нибудь быстрое. Обычно у меня получается быстрое. Но язык прилип к нёбу, отклеился с усилием, и я почувствовал на нём тот самый сухой налёт, который третий день не убирался ничем.

— Месяц воды за полсуток моей кардиограммы, — сказал я. — Дёшево отдал.

Шутка вышла громче, чем надо. Опять.

Камбуз у нас тесный: стол, четыре скамьи и титан в углу,

привинченный к переборке ещё при прошлом капитане. Титан стоял сухой. Это было видно даже с порога, потому что на нём не отпотевала обычная холодная роса, и он от этого сделался просто куском металла в углу, вроде тумбы.

К без двадцати двенадцать там сидели все.

Тарас грел на аварийном элементе пустую жестяную кружку. Просто пустую: держал её над спиралью, поворачивая за ручку, пока жёсть не начинала пахнуть горячим. Потом подносил к лицу и дышал в неё.

— Тёплый воздух, — сказал он, поймав мой взгляд. — Рот думает, что напился. Ему полминуты хватает, дураку.

— И как?

— Работает три раза. С четвёртого рот начинает злиться. — Он пустил жестянку через стол Рине. — На, злись.

Аглая пришла последней, села с краю у переборки и выложила перед собой судовой журнал. Док был на своём месте, в торце: сигарета без огня ходила у него между пальцами, и он молчал.

— Условия вы слышали, — сказала капитан. — Кто против.

Тарас отставил жестянку от лица.

— Я против.

— Причина.

— Она нам маневровые выбила. — Он говорил не громко, что для него было хуже крика. — С двадцати километров, с одного захода. У меня правый тракт до сих пор в трёх местах

разорван, и я его без стапеля не соберу никогда. А теперь она нам водички нальёт, и мы ей за это спасибо скажем. Аглая, это подачка. Я такое из рук не беру.

— Ты гордый, — сказал док. Не поднимая головы.

— Я механик. Я знаю, откуда у железа берутся дырки.

— Гордый механик, — сказал док и наконец посмотрел на него. — Кислорода в контуре девятнадцать процентов, Тарас. Воды семь литров на пятерых. Гордость весит ноль и пьётся ноль.

Тарас засопел и стал гонять жестянку по столу от себя и к себе.

Я откашлялся. Горло сделало это с трудом, будто внутри тёрлись две сухие тряпки.

— Я за, — сказал я.

— Ну ещё бы, — буркнул Тарас.

— Дослушай. — Я упёрся левой в столешницу. Правая лежала в косынке, чужая, тяжёлая. — Она хочет мою телеметрию. Пульс, проводимость, голову. Тарас, у меня нет тяги. У меня нет руки. У меня слух на маршрут работает ровно настолько, чтобы слышать один стук в одну и восемь десятых секунды и говорить, что он ушёл влево. Всё, что она снимет с меня за полсуток, это график того, как я медленно порчусь. Она это и так знает наизусть. У неё в Синодике пять таких графиков, и все пять кончились одинаково.

— Шесть, — сказала Рина тихо.

— Пять, — сказал я. — Шестой ещё сидит.

Никто не засмеялся. Я и не рассчитывал.

— Мы отдаём ей то, что у неё почти есть, — сказал я. — И получаем воду, которой у нас нет вообще. Если это подачка, то я подставлю обе ладони. У меня одна работает.

Аглая перебирала ключи. На середине связки остановилась.

— Док, — сказала она. — Что уходит с борта.

Док опустил сигарету на стол, ровно, параллельно краю.

— Уходит то, что я туда положу, — сказал он. — Я собираю пакет сам. Пульс, кожная проводимость, энцефалограмма. Пассивные данные, шаг минута, двенадцать часов. Всё.

— А что не уходит?

— Динамика Раствора. — Он посмотрел на меня. — Граница стоит у ключицы третьей сутки. Ни на миллиметр вверх. Дорн считает по темпу: у Бека вены дошли до локтя на пятой неделе, у тебя за десять суток, и по её арифметике ты должен был умереть позавчера. Она этого ждёт. Она смотрит на кривую и ждёт, когда она пойдёт вверх.

— И?

— И я ей этого не покажу. — Док взял сигарету обратно. — Если она узнает, что процесс встал, она сделает один вывод: почему встал. И приедет за ответом. А ответ у тебя в шее пульсирует раз в одну и восемь десятых секунды, и я не знаю, что это, и знать не хочу, пока ты жив.

Лампа над столом стояла в сером ворсе пыли, и обмахнуть её никто не собирался. Регенератор гнал по кругу один и тот

же воздух, и воздух этот уже устал.

Рина вдруг зашуршала в кармане комбинезона.

— У меня тут... — Она выложила на стол что-то маленькое, в мятой бумажке. — Я её вчера в шве нашла. Она там, наверное, с Тупика.

Это была карамелька. Кислая, зелёная, слипшаяся с бумажкой в один комок.

Все пятеро посмотрели на неё, как на инструмент Строителей.

— Дели, — сказала Аглая.

Рина достала монтажный нож, вытерла лезвие о рукав и стала пилить карамельку прямо на столешнице. Та не резалась, а кололась. Осколки разлетались, Рина ловила их ладонью и сгребала в кучки. Пять кучек. Считала вслух, шёпотом, поправляя крошки кончиком лезвия, пока кучки не стали одинаковые.

Я взял свою левой. Сунул под язык. Во рту рвануло кислым так, что заломило под скулами и на секунду сделалось мокро, по-настоящему мокро, и лучше этого за весь рейс со мной ничего не случилось.

Тарас закрыл глаза и держал крошку за щекой, не двигаясь.

— Ладно, — сказал он потом. — Я не против. Я всё равно против, но я не против.

— Записано, — сказала Аглая и открыла журнал.

Она писала долго и мелко, и, пока писала, никто не вста-

вал.

— Приём тросом, без стыковки, дистанция восемьсот, — прочитала она вслух, дописав. — Груз принимаем на грузовой шлюз левого борта. Лебёдка ручная. Механик на барабане, навигатор на визире, врач на приёмке. Я на интеркоме. Рина в рубке, пишет всё, что она скажет, включая то, как она дышит.

— Есть, — сказала Рина.

— И ещё. — Аглая закрыла журнал и подвинула корешок, пока он не встал ровно с краем стола. — Никто из вас не говорит ей ни одного лишнего слова. Она за сутки собрала мой водный расход по норме, которую я ставила двадцать лет назад. Ей хватит и меньшего.

К двум часам дня грузовой шлюз левого борта был вскрыт с внутренней стороны и продут.

Пахло там сырым металлом и резиной. Прокладки на внутренней створке стояли ещё с ремонта в Тупике, задубели от холода и отдавали тем самым духом старой резины, который у меня с детства связан с верфью и с тем, что сейчас будет что-то тяжёлое.

Тарас развернул ручную лебёдку и снял с барабана стопор. Барабан был старый, с храповиком, и храповик при каждом обороте отсчитывал: щёлк, щёлк, щёлк.

— Восемьсот метров, — сказал он, глядя на моток буксирного линя. — Дан, ты когда-нибудь выбирал восемьсот метров руками?

— Нет.

— И я нет. — Он подышал в ладони. — Значит, узнаем оба.

Я встал к визиру.

Визир на левом борту — это ручной оптический прицел, оставшийся от прежней жизни корабля, когда на Молчуне ещё что-то стояло кроме грузовых стрел. Резина наглазника промёрзла и обожгла бровь. Я подкрутил барашек левой рукой, поймал резкость и в первый раз за всё это время увидел Коршун своими глазами.

Он был близко.

Восемьсот метров в оптике — это когда видно заклёпки. Тёмный корпус третьей серии, длинный, без единого огня. Восемь орудийных башен по борту стояли опущенные по-походному, стволами вдоль корпуса, и это должно было успокаивать, но не успокаивало. Над пассивными радиаторами кормы дрожало тепловое марево. Живой корабль. Тёплый. У нас марева над радиаторами не было уже давно.

С манипулятора на его левой скуле сходил трос, и на конце троса висела канистра.

— Вижу груз, — сказал я в интерком. — Канистра в оплётке, идёт на лине. Манипулятор её отпустил.

— Тянем, — сказала Аглая.

Тарас навалился на рукоять.

Первые метры пошли легко. Потом линь натянулся, и барабан начал упираться. Тарас крутил, храповик щёлкал, и в

шлюзе стало слышно только это: щёлк, щёлк, щёлк, и его дыхание в такт.

— Тяжёлая, зараза, — сказал он. — Двадцать литров и сама килограмма три.

— Мы в дрейфе, — сказал я. — Она не весит.

— Она не весит. Она инерцию имеет. Ты сначала её сдвинь, потом рассуждай.

На двухсотом метре линь дёрнуло.

Дёрнуло не от нас: где-то там, между двумя слепыми кораблями, трос повело в сторону, канистра пошла маятником, и барабан рванул рукоять из рук Тараса. Он успел поймать её грудью. Храповик проскочил три зуба назад, с треском.

— Держу, — прохрипел он. — Дан, смотри в визир, не на меня.

Я смотрел в визир.

Канистра ходила по дуге, медленно, и трос за ней выгибался длинной волной. Волна дошла до нашего борта, ударила в направляющий ролик, и барабан перекосило: намотка съехала к правой щеке, витки полезли друг на друга.

— Перекос, — сказал я. — У тебя намотка вправо ушла.

— Вижу. — Тарас перехватил рукоять. — Док, ломик у переборки. Подай.

Док подал.

Дальше они работали вдвоём, молча. Тарас крутил, док ломиком отжимал витки к левой щеке барабана, и каждый раз, когда трос дёргался, они оба замирали и ждали, пока

пройдёт.

Я держал глаз в наглазнике и не отпускал Коршун.

Мостик у него был там, где положено, в носовой надстройке, и триплекс мостика не светился. Ни одного огня. Ни одной тени за стеклом. Я подкрутил резкость до предела, до того, что картинка поплыла, и всё равно ничего не увидел, кроме собственного дыхания, оседающего инеем на окуляре.

Она сидела там и не давала на себя посмотреть.

— Двести метров, — сказал Тарас. — Сто пятьдесят. Сто.

Тихо зазуммерил таймер сброса на щитке шлюза. Тонко, на одной ноте.

— Пятьдесят.

Я оторвался от визира и перешёл к створке.

Канистра вошла в шлюз, ударилась о комингс и сползла на настил. Звук вышел глухой, низкий, полный: так звучит только тяжёлая сталь, в которой плещется. Я никогда раньше не думал, что звук может быть на вкус. Этот был.

Тарас затянул стопор, сел прямо на настил и вытер лицо рукавом.

Потом подполз к канистре на коленях и стал оттирать тем же рукавом гильдейскую пломбу. Она была в масляной грязи, набранной с манипулятора, и он тёр её долго и тщательно, пока не проступил вдавленный оттиск.

— Целая, — сказал он. — Ни следа. Никто не вскрывал.

Док присел рядом. Свернул колпачок, зачерпнул в мензурку, опустил туда ареометр и стал смотреть, как тот кача-

ется.

— Плотность в норме, — сказал он. — Мутности нет. Запаха нет.

Он поднёс мензурку к губам, сделал маленький глоток, подержал во рту и проглотил.

— Вода, — сказал док. — Обычная техническая вода с фильтра. Отдаёт железом и резиной от прокладки. Пить можно.

Тарас взял с крючка жестяную кружку, наполнил её до края и встал.

Все смотрели на воду. Я тоже.

Он прошёл мимо меня, мимо дока, дошёл до Аглаи, которая как раз шагнула в шлюз с интеркомом в руке, и протянул ей.

— Ты первая.

— Тарас.

— Ты первая, — повторил он. — Ты третий день раздаёшь по сто пятьдесят и пьёшь из последней очереди, я считал. Так что не спорь, у меня руки заняты.

Руки у него были пустые.

Аглая приняла её обеими руками. Выпила половину, не отрываясь, и вернула.

— Раздай по норме, — сказала она хрипло. — Двойной. Сегодня двойной.

Мою кружку держал док, потому что левой я не удержал бы её ровно. Первый глоток был холодный до боли в зубах

и отдавал фильтром, железом и чужим кораблём. Я пил и чувствовал, как оно идёт вниз по горлу, весь путь, каждый сантиметр, как будто внутри меня прокладывали трассу.

Рина в рубке засмеялась в интерком. Просто так, ни над чем.

— Отправляй встречное, — сказала Аглая.

Док достал из нагрудного кармана оптический кристалл размером с ноготь, завёрнутый в салфетку, и защёлкнул его в приёмный карман сбросной обоймы. Тарас закрепил обойму на карабине линя и отпустил стопор. Барабан пошёл в обратную сторону, свободно, быстро, и я вернулся к визиру, чтобы увидеть, как манипулятор Коршуна принимает обойму и подтягивает её к себе.

— Приняла, — сказал я.

Интерком в руке Аглаи щёлкнул.

— Телеметрия получена, — сказала Дорн. — Двенадцать часов, шаг минута. Пакет читаемый. Сделка закрыта, Бер.

— Закрыта, — сказала Аглая.

— Тогда я отхожу на прежнюю дистанцию.

И вот тут она сделала паузу.

Короткую. Я потом её несколько раз прокручивал в голове и не мог решить, была ли она вообще, или мне показалось, потому что стоял я тогда с мокрыми губами, с водой в руке, и был счастлив, как дурак.

— И ещё одно, — сказала Дорн. — Не в счёт сделки. Просто чтобы вы знали.

Тарас перестал крутить барабан.

— За вами идёт третий, — сказала Дорн. — Сорок километров позади нас, на том же векторе, на той же скорости. Идёт следом с того момента, как мы прошли Кромку.

— Чей, — сказала Аглая.

— Не знаю. Я вижу его только по кильватерному возмущению, оптика его не берёт вообще: ни корпуса, ни контура, ни теплового следа. На запрос позывными Гильдии он не отвечает. Гильдейского борта на этом векторе быть не может: после моего отстранения Спица сюда не пошлёт никого, а если бы послала, он шёл бы с огнями и первым делом снял бы меня.

Я опустил жестянку.

Вода в ней колыхнулась и встала.

— Сколько он там? — спросила Аглая.

— Не меньше суток. Возможно, дольше. Я его заметила сегодня в шесть утра, когда сводила сносы по трём отсечкам и получила лишнее возмущение, которое не объяснялось ни вами, ни мной.

— Почему говоришь.

— Потому что у вас нет ни тяги, ни оптики, ни воды, — сказала Дорн. — А у меня нет приказов. Я передаю координаты возмущения на ваш пеленг открытым текстом. Дальше решайте сами.

Интерком коротко зашуршал.

Потом стало тихо. Тише, чем было до вызова: даже хра-

повик замолчал, даже регенератор под настилом на секунду сбился с шелеста.

Я стоял в шлюзе, держал жестянку левой. Вода в ней была ещё холодная, а во рту у меня уже опять сохло.

В рубке над связным постом горел единственный на весь корабль экран.

Мы поднялись туда все, кроме Тараса, который остался заdraивать шлюз. Рина сидела боком, придерживая наушник плечом, и не оборачивалась.

— Приняла, — сказала она. — Она бросила пакет и ушла с волны. Всё, её нет.

На экране, на пустом поле пассивного пеленга, где третьи сутки не было ничего, кроме нашей собственной отметки в центре и отметки Коршуна в двенадцати километрах за кормой, теперь стояла третья.

Она была не яркая. Она вообще была не точка: тонкий размытый штрих, который держался ровно на нашем векторе и не двигался относительно нас ни на волос.

Сорок километров.

Аглая наклонилась к экрану и долго смотрела.

— Дан, — сказала она. — Слышишь его?

Я закрыл глаза и стал слушать.

Стук отца шёл, как шёл. Одна и восемь десятых секунды, влево и вверх на двадцать пять градусов, и жила на моей шее толкалась ему в такт.

А сзади не было ничего. Совсем ничего. Гладкое место в

мире, где даже пустота обычно чем-нибудь шелестит.

— Нет, — сказал я.

— И оптика его не берёт, — сказала Рина.

Аглая выпрямилась и прижала руку к холодному кожному приводу.

За нами шли двое слепых. Один из них только что налил нам воды.

А третий шёл, и его никто не видел.

Глава 5. Списанные

Буксирный линь скрипел.

Его не смотали после обмена: восемьсот метров стального троса так и висели между нами и Коршуном, и каждые полминуты по нему проходила слабина. Тогда в левом шлюзе что-то коротко стонало в барабане, и звук шёл по всему корпусу, до самой рубки. Тарас сказал, что это не трос, а стопор храповика, и что он его подожмёт. Не подошёл. Ходил мимо и слушал.

Мы все слушали. К тринадцатому дню корабль стал тише пустого трюма, и любой чужой звук в нём означал, что кто-то тянет за нашу обшивку.

Я сидел у связного поста и держал левую руку на краю стола. Правая лежала в брезентовой косынке и была не моя четвёртые сутки: ни настила, ни ткани, ни холода — ничего до самой ключицы. Выше ключицы кожа ещё что-то понимала, но плохо, как через рукавицу. Док замерял границу утром и сказал, что она стоит третьи сутки. Про то, хорошо это или плохо, он не сказал. Он вообще перестал говорить слова, у него теперь была тетрадь и графа, в которой третий раз подряд пусто.

Рина дёрнула плечом.

— Ещё раз, — сказала она.

На панели дрогнула одна лампа. Не наша частота, не эфир:

сигнал шёл по проводу, по тому самому линю, который висел между корпусами. Гильдия так делала на швартовках, когда не хотела светить в эфир: кидала на трос жилу и говорила по железу.

— Это не Дорн, — сказала Рина.

— С чего ты взяла.

— У Дорн вызов идёт с несущей и с меткой борта. А тут кто-то просто замкнул жилу на трос и колотит по ней косяшкой. — Она подтянула наушник к уху и застыла. — И он стучит третий раз. Первые два я не приняла.

В проходе загремели ключи. Аглая вошла, не спрашивая, что тут, встала за спинкой Ринино кресла и взялась за верх стойки.

— Кто.

— Не представился.

— Тогда пусть стучит.

Рина развернулась к ней вместе с креслом.

— Он стучит на нашей аварийной. С борта, который в восьмистах метрах и у которого восемь стволов по левой скуле. Если он через час перестанет стучать и начнёт делать что-нибудь другое, я хочу знать заранее что.

Аглая перебрала ключи на поясе. Остановила на одном.

— Ставь на динамик. В эфир не выходим. Слушаем.

Рина щёлкнула тумблером, и рубка получила чужое дыхание.

Оно было плохое. Человек дышал ртом, коротко, как ды-

шат после лестницы, и где-то за ним лязгало железо: ровный, скучный, домашний лязг, с каким чистят оружие, когда делать больше нечего. Кто-то невдалеке засмеялся и сразу замолчал.

— Молчун, — сказал голос. — Это Клем.

Я знал этот голос. Я слышал его четверо суток и одну жизнь назад, в кольце Точки-12, когда он говорил своим людям, где встать и куда бить, и говорил спокойно, как говорят про погрузку.

Рука в косынке не почувствовала ничего. Зато у меня свело левую, на столе, и я убрал её на колено.

— Молчун слышит, — сказала Аглая.

— Ты вышла в эфир, — сказал Клем.

— Я вышла по твоему проводу. В эфире меня нет. Говори.

— Мне нужен ваш навигатор.

Аглая не ответила. Она умела не отвечать так, что человек на той стороне начинал говорить дальше и говорил лишнее, и Клем на это пошёл почти сразу.

— Я знаю, что он слушает. Веко, ты слушаешь.

— Слушаю, — сказал я.

— Хорошо.

Он замолчал. За ним лязгнуло, ближе, и голос стал тише, будто он повернулся спиной к своим.

— Смотрителя нет на мостике, — сказал Клем. — Она спит четвёртый час, первый раз за трое суток. Я не буду это повторять и не буду ждать, пока ты решишь, верить мне или

нет. Я говорю сейчас, потому что через час я не смогу.

— Говори быстрее, — сказала Аглая.

— На Коршуне семь человек.

Рина подняла голову.

— Штатный состав фрегата третьей серии — сто двадцать четыре, — сказала Аглая ровно. — С боевым сокращением — восемьдесят.

— На Коршуне семь человек, — повторил Клем. — Дорн. Я. И пятеро моих. Остальные ушли на шлюпках четверо суток назад, когда пришёл приказ о трибунале и стало ясно, что она его не выполнит. Четырнадцать человек, две шлюпки, курс на Спицу. Они сняли аварийный запас и половину аптечки, и они правы: за неисполнение приказа судят борт, а не человека. Тот, кто остался на борту, остался соучастником.

В рубке стало очень тихо. Даже линь снаружи не скрипнул.

— Вы поэтому не смотали трос, — сказал я.

— Мы поэтому не смотали трос, — сказал Клем. — Лебёдку левого борта тянут четверо. Четверых у меня нет. У меня пятеро, и двое из них после вашей станции с контузией, а один ходит с трубкой в боку.

Он сказал это буднично, как сводку. И вот это было хуже всего: не жалоба, а отчёт списанного человека, который привык докладывать наверх, а наверху больше никого нет.

Аглая отвинтила крышку фляги и завинтила обратно, не

отпив.

— Чего ты хочешь, Клем.

— Вернуться на Спицу.

— С трибуналом на борту.

— С аргументом на борту, — сказал Клем.

И тут я понял, что аргумент — это я.

Я знал, что это будет сказано, ещё когда он назвал мою фамилию. И всё равно под рёбрами тонко потянуло, и во рту стало кисло, как от жести. Не страх. Страх у меня в эти дни был другой, ровный, с ним можно жить. Это была злость: как легко вслух говорят, что ты вещь, которую предъявляют.

— Веко, — сказал Клем. — Я не собираюсь тебя красть. Я не смогу. У меня нет людей на абордаж, а если бы были, ты нужен живым, а живым ты со своей рукой до шлюза не дойдёшь. Я предлагаю другое. Ты идёшь на Спицу сам, добровольно, под мой протокол. Я довожу тебя до инспекции живым. Гильдия получает носителя, которого двадцать лет не могла взять целым. Мои люди получают снятие соучастия. Я получаю обратно звание. Твой экипаж уходит с закрытым долгом, и никто их не ищет.

— И где я после этого, — сказал я.

— В лазарете под наблюдением.

— До конца жизни.

— До конца жизни, — сказал Клем. — Который у тебя, если верить зрителю, короче, чем разговор об этом.

Рина дёрнулась ко мне, и я мотнул подбородком: не сей-

час.

— Ты командовал штурмом, — сказал я.

— Да.

— Ты положил шестерых своих в кольцо.

— Восьмерых, — сказал Клем. — Двое умерли на борту.

Ты считал по тем, кого видел.

Я открыл рот и закрыл.

Он не оправдывался. Он поправил мне цифру, как поправляют накладную.

— Клем, — сказала Аглая. — Ты знаешь, что такое двадцать литров воды.

— Знаю.

— Тогда знай второе. Мне вчера налили воды. Мне сегодня предлагают отдать за неё человека. Это два разных борта, а корпус один.

— Это два разных человека, — сказал Клем. — Смотритель ведёт своё дело. Она проверяет доктрину, у неё это двадцать лет и, по-моему, вместо семьи. Ей ваш навигатор нужен как запись в томе. Мне он нужен как живой предъявленный носитель. Разницу для него можете вы не увидеть, а он увидит.

За его спиной опять лязгнуло. Потом щёлкнуло — сухо, коротко, металлически. Через паузу ещё раз. И ещё.

Щёлк. Пауза. Щёлк.

Он щёлкал предохранителем. Стоял, говорил про звание и трибунал и вертел большим пальцем флажок на скобе ка-

рабина, туда-сюда, как человек крутит в руках спичечный коробок.

— Клем, — сказала Аглая.

— Что.

— Убери палец со скобы.

Тишина.

— Я тебя не вижу, — сказала она. — Я тебя слышу. И то, что я слышу, мне не нравится больше, чем всё, что ты сказал. Убери.

Щёлканье прекратилось.

— Привычка, — сказал Клем.

— Плохая.

— Других не осталось.

Аглая двинула корешок судового журнала на стойке до ровного.

— Ответ по твоему предложению: нет. С борта у меня людей не выдают, я это уже говорила зрителю, повторять третьему не буду. Дальше по делу.

— По делу, — сказал Клем, и в голосе у него что-то поехало, как будто он до последнего надеялся, что не придётся говорить второе. — По делу у меня есть служебный пакет. Разведданные по сектору за Кромкой. Гильдейская сводка, карта, отметки постов. Я готов передать это на ваш борт.

— За что.

— Ни за что. Сегодня ни за что.

— Так не бывает.

— Бывает, когда у человека кончился товар, — сказал Клем. — Я даю сейчас, чтобы потом было о чём говорить. Вы всё равно придёте ко мне разговаривать, Бер. У вас нет тяги.

Аглая посмотрела на экран, где на пустом поле стоял размытый штрих в сорока километрах позади.

— Как передашь.

— Капсулой по линии. Стальной цилиндр, восемь килограммов, замок обычный, эксцентриковый. Пойдёт своим ходом, у вас уклон в нашу сторону. Полтора часа хода.

— Тарас проверит замок.

— Пусть проверит, — сказал Клем. — Я бы тоже проверил.

Он отключился первым.

Рина сняла наушник и положила на стол. Седьмой раз за рейс.

— Он не врёт про семерых, — сказала она. — У них третьи сутки один голос в служебном обмене. Я думала, у них радиомолчание. У них некому говорить.

Аглая пошла к двери, у порога остановилась и не обернулась.

— Дан. В шлюз не идёшь без дока.

Я и не собирался идти без дока. Док меня и не спрашивал.

Капсула пришла в восемнадцать пятнадцать.

Мы стояли в левом шлюзе вчетвером: Тарас у барабана с ломиком, док у переборки, я у видеоинтеркома, и Гвоздь в банке на полке, потому что Тарас теперь таскал банку с

собой везде и утверждал, что шелкун чует железо раньше приборов. Гвоздь спал. Днём он всегда спал.

Стальной цилиндр вылез из-за среза рукава медленно, покачиваясь на карабине, и стукнул в упор с тем самым звуком, с каким в трюме садится на место груз, если его вести правильно. Тарас поймал его на ладонь и придержал.

— Восемь кило, — сказал он. — Ровно как сказал.

— Ставь на настил и отойди, — сказал я.

— Дан.

— Ставь.

Он поставил. Присел на корточки, наклонил голову набок и стал смотреть на замок — не трогая, как смотрят на собаку, которую не знают.

— Эксцентрик, — сказал он. — Обычный, гильдейский, я такие на укупорках видел. Одна ось, один сухарь. — Он потянулся ломиком и подцепил дужку кончиком, стоя сбоку, а не сверху. — Если там мина, она встанет на разжим. Сейчас узнаем.

— Тарас.

— Я сбоку, — сказал он. — Я всегда сбоку. Я женат на своей руке, у меня к ней чувства.

Экран интеркома на переборке зашуршал и посветлел.

Я его увидел.

Северин Клем оказался невысоким, широким в кости, с серым лицом того, кто спит по два часа и считает, что этого хватает. Правая скула залеплена пластырем, из-под воротни-

ка торчал край бинта. За спиной, в глубине чужого шлюза, сидели на настиле двое. Один держал на коленях разобранный карабин. Второй просто сидел, и руки у него от кисти до локтя были в бинтах — серых, ношенных дольше, чем бинт носят.

Он смотрел на меня. Не на Тараса с ломиком, не на капсулу, не на док. На меня.

Я стоял и смотрел в ответ и думал одну простую вещь: вот это лицо было тогда за щитом. Я его не видел ни секунды. Я видел щит, распорку в своих руках и настил, летящий вбок.

— Пульс сто десять, — сказал док у меня из-за плеча.

— Не сейчас.

— Сто десять, — повторил он ровно, без нажима. — Я не прошу тебя ничего делать. Я говорю цифру вслух, чтобы ты её слышал.

На экране Клем скосил глаза в сторону дока.

— Врач, — сказал он. — Вей, кажется.

Док не ответил.

— У меня двое контуженых и один с дренажем, — сказал Клем. — Если бы вы согласились на консультацию по каналу, я бы был должен.

— Я в долг не лечу, — сказал док. — Я по каналу не лечу вообще. Скажите вашему с дренажем, чтобы спал на боку с трубкой книзу, и меняйте бинты чаще, чем сейчас. Отсюда видно, что вы их не меняете.

— Нечем.

— Тогда кипятите и стирайте. Это работает хуже, но работает.

Клем кивнул. Один раз, коротко, как принимают приказ. И снова посмотрел на меня.

— Веко, — сказал он. — Ты хотел меня увидеть.

— Хотел.

— Смотри.

Я смотрел.

Я ждал, что во мне поднимется что-то большое: ненависть, желание сказать ему в лицо про восьмерых, которых он сам мне пересчитал. Не поднялось. Поднялось другое, мелкое и стыдное. Я стоял в тёплом шлюзе своего корабля, с косынкой на груди и двойной нормой воды в животе. Он стоял в чужом полутёмном отсеке, где на фрегат в сто двадцать четыре койки осталось семеро. По всем правилам загнан был я. Вышло наоборот.

— Сколько вам осталось воздуха? — спросил я.

Он моргнул. Не ждал этого вопроса.

— Регенерация в норме.

— Я спросил не про норму. У нас девятнадцать процентов и никакой тяги. Я спросил, сколько у вас.

— Двадцать один, — сказал Клем. — И тяга есть. И я всё равно не знаю, куда её деть, потому что до Спицы четверо суток хода, а на Спице меня встречает та же бумага, что и её.

— Значит, ты хочешь не на Спицу, — сказал я. — Ты хочешь обратно во время, когда у тебя было сто двадцать

четыре человека.

Он молчал секунды три.

— Мальчик, — сказал он наконец. — Тебе двадцать два.

— Двадцать два.

— В твои двадцать два я третий год ходил по узлам старшим досмотровой группы, и мне казалось, что я понимаю, кто я такой. — Он тронул торец камеры, снял оттуда что-то невидимое, вытер о штанину. — Объясню один раз и больше не буду. Смотритель нарушила приказ, и её отстранили. Я выполнил её приказ до отстранения, и я никто. Мои люди выполнили мой приказ, и они соучастники. Между приказом и виной по нашему уставу нет ни одного дня. Есть подпись сверху. Убрали подпись — и все под ней за час стали мусором.

Он сказал это без злобы. Как техник объясняет, почему сгорела шина.

— Ты ходишь на карабин с предохранителем, — сказал я.
— Я слышал.

Клем опустил взгляд на свои руки. Потом убрал правую за спину.

— Замок открыт, — сказал Тарас.

Он всё это время работал и не встречал ни словом, и я даже не заметил, когда он перестал стоять сбоку. Капсула лежала раскрытая, две половинки, внутри — пенопластовые ложементы, и в них две вещи.

Плоский служебный планшет в резиновом чехле, поцара-

панный, с гильдейским клеймом на торце.

И свёрнутая в рулон бумага. Настоящая, толстая, ламинированная навигационная карта — такие давно не печатают, потому что зачем печатать то, что живёт в шине.

— Пусто, — сказал Тарас. — Ни проводочка, ни грамма. Я даже расстроился.

— Планшет разряжен и стёрт до реестра, — сказал Клем с экрана. — В нём только опись и допуски, я вам его дал, чтобы вы видели, что карта настоящая, а не рисованная мной за час. Карта — это то, что вам нужно. Сектор за Кромкой, издание Гильдии, шестилетней давности, с рабочими правами постов.

Тарас достал рулон двумя пальцами, как достают из воды кошку.

— Клем, — сказала Аглая. Она пришла две минуты назад и стояла у порога, и я не слышал ключей: она их придержала рукой.

— Бер.

— Зачем на самом деле.

Клем посмотрел куда-то мимо камеры, в глубину своего отсека, где сидели на настиле его люди.

— Потому что у вас сзади идёт третий, — сказал он. — Она вам сказала про него, я знаю, я читал её ленту. Она сказала не всё, потому что не знает не всё. Я двенадцать лет в досмотре и скажу вам, как это выглядит с моей стороны. Борт, который держит дистанцию сутками, не отвечает на позыв-

ные Гильдии и не берётся оптикой, бывает двух пород. Первая — ликвидаторы. Внутренняя служба, зачистка по следу отстранённого зрителя, чтобы ни рапорта, ни свидетелей. Тогда они возьмут сначала нас, потом вас, и всё это будет тихо.

— А вторая, — сказал я.

— Вторая, — сказал Клем, — те, кто ходит за Кромку без Гильдии и умеет это делать давно. Про них у нас говорят, что они слушают. У меня к ним ни одного своего наблюдения, только чужие рапорты. Но рапорты я читал, и в них корабли не находят.

Он потянулся вперёд, и его лицо на экране стало больше.

— Я не знаю, какая из двух, — сказал он. — Я знаю только, что вам не надо стоять на месте. И мне тоже.

Экран мигнул и погас.

В кают-компании стол под жёлтым плафоном был поцарапан так, что на нём читались все двадцать лет корабля. Мы расстелили карту вчетвером, придавили углы кружкой, лампой, банкой с Гвоздём и разводным ключом.

Бумага была плотная, ламинированная, и шуршала под пальцами тяжело, как жёсть. Пахла клеем и графитом. Левая рука у меня по этой бумаге шла хорошо, а правая лежала на краю стола, как чужой инструмент, и я о неё изредка задевал коленом и ничего не чувствовал.

Тарас поставил на аварийный элемент жестяной чайник. В нём варилось то, что он назвал вторичным верфяным взва-

ром: сушёные яблочные очистки, второй раз залитые.

— Первый раз это был компот, — сказал он. — Второй раз это уже архив. Но горячий.

Рина сидела с краю и штопала мир по-своему: разобрала штекер наушника и чистила контакты швейной булавкой, поворачивая к свету. Док в торце штопал протёртую манжету рукава хирургической нитью, мелкими злыми стежками, и катал в углу рта незажжённую сигарету.

— Кромка, — сказала Аглая и прижала ладонью левый край листа. — Вот тут мы вышли. Вот тут край сетки. Дальше у Гильдии — четыре штриха и слово.

Слово было: не обеспечено.

Дальше на бумаге начиналась честная пустота. Не белая: серая, с редкой сеткой координат, которой никто не пользовался, и с двумя десятками отметок, половина из которых была перечёркнута накрест от руки.

— Вот это списано, — сказал я, ведя ногтем по красным овалам. — И это. И это. Гильдия ставит красный штамп, когда объект снимают с обеспечения. Значит, туда не идут суда, не возят воду и не ищут пропавших.

— Откуда знаешь, — сказала Рина, не поднимая головы от штекера.

— Справочник схем пограничных станций. Я его наизусть знаю, я за него две смены отдал.

— За две смены я бы выучила больше.

— Ты бы за две смены выпалась.

— Дан, — сказала Аглая. — Вектор.

Я закрыл глаза.

Стук отца шёл, как шёл всю эту неделю. Удар, пауза чуть короче двух секунд, снова удар, и так ровно, что по нему можно было ставить хронометр. Уходил влево от носа и задирался кверху — двадцать пять градусов, цифру я носил в голове вторые сутки. Он не приближался и не удалялся. Он просто был, как гвоздь в стене, и я по нему висел.

Я открыл глаза, взял левой рукой карандаш и провёл от нашей отметки на край листа.

Линия прошла через пустоту, зацепила краем один пере-чёркнутый кружок и ушла за обрез бумаги.

— Он там, — сказал я. — За обрезом. Карты дальше нет.

— Есть, — сказала Аглая. — У Гильдии нет. Он на ней шесть лет назад ходил и не спрашивал у Гильдии разрешения.

Тарас разлил взвар по жестянкам. Пахло варёным яблоком и жжёным металлом, и это было первое за две недели, что пахло едой.

Я вёл костяшкой вдоль своей линии, вправо, влево, отступая от неё на ладонь, и искал хоть что-нибудь: обломок, узел, старую верфь, любое место, где есть корпус, вода и люди. У нас было ноль граммов тяги, двое суток пайка и девятнадцать процентов кислорода, и мне нужен был не отец. Мне нужен был берег.

И я его нашёл в двух сантиметрах от линии.

Маленький значок обломка: сдвоенный крючок, каким на гильдейских картах помечают разобранные верфи. Название набрано мелким шрифтом — Сходни. Сверху на него лёг красный овальный штамп с полустёртыми буквами: объект списан.

А поверх штампа, поперёк, было написано от руки.

Одно слово, простым карандашом, некрупно, чуть косо, с сильным нажимом в последней букве.

Жив.

И рядом, мельче, значок: две волнистые чёрточки и стрелка под ними. Приливная тень.

Я не сразу смог сказать.

— Что, — сказала Рина.

Я развернул карту к ним.

Тарас поставил жестянку и наклонился так, что чуть не сел носом в бумагу.

— Это карандаш, — сказал он. — Простой.

— Химический, — сказала Рина.

— Простой. У химического край синее, когда его мусолят.

— Его никто не мусолил.

— Сейчас проверим.

Он лизнул палец и тронул краешек буквы, и Рина взвыла, а док, не отрываясь от манжеты, сказал:

— Прекрасно. Единственный документ на борту, а мы его облизываем.

— Не размазалось, — сказал Тарас с достоинством. — Простой. Я выиграл. Ставлю жестянку.

— У тебя нет жестянки.

— У меня есть надежда на жестянку.

Аглая взяла карту за края обеими руками и повернула к себе, и все замолчали.

— Приливная тень, — сказала она. — Это старый значок курьерской службы. Так метили место, где сеть подходит близко и держится ровно. За неё можно спрятаться от пеленга и от сноса.

— Ты это знаешь по нашивке, — сказал Тарас.

— Я это знаю, — сказала Аглая.

Я смотрел на слово.

Штамп был гильдейский, печатный, положенный на бумагу под давлением, с ровным овалом и мёртвыми казёнными буквами. Он говорил: этого места больше нет, туда не ходят, оно снято с обеспечения, забудьте.

А сверху кто-то взял обычный карандаш и написал три буквы.

Я потянулся и тронул слово подушечкой левого указательного. Графит был свежий. Он чуть мазнул кожу, и остался серый след.

Свежий.

Эта карта шестилетней давности, и печаталась она на Спице, и лежала в служебном обороте Гильдии, и привёз её тот, кто сегодня щёлкал предохранителем, потому что других

привычек у него не осталось. А слово на ней было написано недавно. Не шесть лет назад. Не год.

— Аглая, — сказал я, и голос у меня сел. — Кто-то написал это на прошлой неделе.

Она посмотрела на серую метку графита у меня на подушечке.

Потом медленно, очень аккуратно, положила ладонь на карту рядом со Сходнями и не убрала.

— Тарас, — сказала она. — Сколько тебе надо, чтобы найти нам хоть один грамм тяги.

— Тяги нет, — сказал Тарас. — Шина сожжена, ввод спёкся, второго раза контур не даст.

— Я спросила, сколько тебе надо.

Он посмотрел на карту. На слово. Отхлебнул из жестянки, обжёгся и не заметил.

— Ночь, — сказал он. — И чтобы никто ко мне не лез.

Глава 6. Сходни

Лёд по обшивке шёл редко и сухо, как крупа по жестяной крыше, и по этому звуку я понимал, что мы всё ещё внутри кома.

Носовой блистер Рина вычистила ещё вчера, но иней снова взялся по нижнему сегменту, и я скрёб его ногтем левой, чтобы видеть хоть полосу. Правая висела на груди в косынке, которую Тарас перешивал ниткой на первые сутки за Кромкой. Пятые сутки она была чужая до самой ключицы, и я её брал левой, как берут ветошь: за ткань, не за руку.

Аглая стояла сзади и чуть слева, в шаге, и я слышал её по ключам на поясе. Она не двигалась, а ключи всё равно позвякивали. Значит, дышала часто.

— Ход? — спросила она.

— Тот же, — сказал я. — Мы падаем.

Своей тяги у нас не было ни грамма. Мы шли на том, что набрали два дня назад, тащили за собой на восьмистах метрах троса Коршун, и это уже нельзя было назвать полётом. Это было падение с хорошим прицелом.

Стук отца шёл спереди-вниз, ровно, раз в одну и восемь. Я его больше не считал вслух. Он лежал у меня в кости под ухом и в корне нижних зубов, и я под него дышал.

Гирокомпас в углу пульты крутился. Просто крутился, второй час, ровно, без рывков, как вентилятор.

— Оптика двойт, — сказала Рина по интеркому со связного поста. — Дан, я снимаю блики или я снимаю камни?

— Камни.

— Их девять.

— Их четыре.

Она замолчала. Потом:

— Пишу твои.

Зыбь начиналась метрах в двухстах впереди, и в ней всё раздваивалось: каждая скала имела вторую, чуть сдвинутую вверх и вправо, побледнее. Обе выглядели одинаково твёрдыми. Мы шли на скорости, на которой ошибка стоила корпуса.

Локатор говорил, что впереди пусто.

Локатор врал уже третий час, и об этом даже перестали спорить.

— Тарас, — сказала Аглая в интерком.

— Держу, — отозвалось машинное. Тарас сипел, он не спал вторую ночь подряд. — Банка заряжена. Один импульс, капитан. Один. Ввод я перебрал на трёх зажимах и на честном слове, и если ты попросишь второй, у нас загорится всё.

— Мне хватит одного.

— Всем хватает одного, — сказал Тарас. — Пока не понадобится второй.

Я закрыл глаза.

Со зрением здесь было хуже, чем без него. Я слушал.

Стук отца шёл сквозь ком ровный, и это было главное:

значит, между нами и им ткань не рвалась. Но он приходил не голым. Вокруг него ком стоял стеной, и в этой стене были места, где стук звучал глуше, будто через ладонь, и места, где он проходил чисто.

Чисто — это дорога. Глухо — это камень.

Я не видел камней. Я слышал, где стук их огибает.

— Влево четыре, — сказал я.

Аглая не спросила ничего. Она тронула маневровый ключ, и ничего не произошло, потому что тяги не было, и тогда она положила ладонь на кран сжатого воздуха дифферентовки и стравила короткую порцию в правый борт. Корабль лениво повёл носом.

Скала прошла под нами. Я её не видел до последнего, а потом увидел: серая, вся в оспинах, с обломанным ребром, и вторая такая же — над ней, прозрачнее, и вторая ушла сквозь нас, как ничто.

— Мимо, — сказала Рина. — Дан, ты сейчас угадал или ты знал?

— Знал.

— Ты бы врал поубедительнее. Успокаивает.

Дальше ком сжался.

Промежутки между камнями стали меньше корабля, и стук пошёл рвано: чисто, глухо, чисто, глухо, и я перестал понимать, где дорога, а где я слышу собственный пульс. Пульс шёл своим счётом. Стук — своим. Они не совпадали, и от этого в затылке набухало.

— Дан, — сказала Аглая.

— Молчи.

Она замолчала. Капитан замолчала, когда практикант сказал ей молчать, и никто из нас потом об этом не вспоминал.

Я нашёл его на девятой секунде.

Коридор тишины. Между двумя грудями шла щель, где стук отца приходил без единой глушины: прямой, промытый, длиной, наверное, в километр, и загибался вниз и вправо. Не самый короткий путь. Единственный.

— Вниз одиннадцать, вправо шесть, — сказал я. — И дальше по дуге, я буду говорить.

— Мы не выведем на воздухе.

— Тогда мы туда не попадём.

Аглая посмотрела на гирокомпас, который крутился и ничего ей не был должен, потом на меня.

— Тарас, — сказала она. — Половину банки на разворот.

— Нет половины, — сказал интерком. — Есть банка. Один рубильник, одно замыкание, дальше медь и мнение.

— Тогда всю. Сейчас.

— Сейчас на разворот?! А тормозить чем, зубами?

— Тарас.

Пауза. В машинном что-то лязгнуло.

— Скажи когда.

Я вёл её словами. Три секунды, поправка, ещё две. Она передавала ему цифры, он переводил их в градусы, и я слышал, как в машинном стучит рубильник, стучит рукой, по-

тому что своей электрики у нас уже тоже не было.

Импульса не было.

Была вспышка в трубах, короткая, и весь корпус дёрнуло, как ведро, которое пнули. Меня качнуло на левый локоть, косынка съехала, и правая рука упала вдоль тела и повисла. Я её не почувствовал. Я увидел, что она висит.

— Дан! — крикнула Рина.

— В коридоре, — сказал я. — Мы в коридоре. Ровно.

Мы шли по этой щели восемь минут. Ком стоял по обе стороны в двадцати-тридцати метрах, ближе, чем я хотел бы стоять к чему угодно, и лёд по обшивке щёлкал непрерывно, мелко, сплошным шорохом.

Потом щель кончилась, и мы вывалились наружу.

Впереди, в чёрном, стояла верфь.

Сначала я не понял, что это верфь: просто решётка, сеть, вычерченная тоньше волоса, в которой не было ни одного огня. Потом мы подошли, и решётка стала фермами: стапельные рёбра, километра полтора вдоль, вбитые в бок астероида, обглоданные до костей. Между рёбрами торчали обрубки причальных усов, и половина усов была срезана автогеном, а половина обломана.

На третьем от края усе горел маяк. Багровый, проблесковый, одна вспышка в две секунды, и от неё вся ржавчина ферм вздрагивала и делалась красной.

— Живые, — сказала Рина шёпотом.

— Живые, — сказала Аглая. — И у них включён свет для

тех, кто подходит. Значит, они кого-то ждут. Значит, здесь ходят.

Она перебрала ключи на поясе и остановила пальцы на одном.

— Тарас, — сказала она. — Импульс был.

— Был.

— Тормозить нечем.

— Нечем, капитан.

Мы шли на неподвижное железо со скоростью пешехода. Это звучит смешно, пока не вспомнишь, что за нами на тросе висели две с половиной тысячи тонн чужого железа.

Остановить такое могло только само железо. Я стоял у стойки и считал, чем мы за это заплатим: усами, обшивкой или кем-то из нас.

Швартоваться начали, когда багровый маяк с уса стал доставать нам до борта.

Я стоял на шлюзовой палубе у левого борта, притянутый ремнём к стойке, потому что одной рукой держаться было нельзя, и смотрел, как Тарас в скафандре с открытым забралом — воздух в палубе ещё был — раскладывает гаки.

Гаков было четыре. Один он тут же отложил в сторону.

— Этот пустой, — сказал он. — Скоба гуляет.

— Тогда три, — сказала Аглая.

— Три на девятьсот тонн.

— У нас три.

Док стоял у щита с лебёдкой и держал ломик. Врач с ло-

миком: я видел это второй раз за неделю и второй раз отметил, что держит он его правильно, ближе к середине, как держат те, кому им уже работали.

Стапельный рельс шёл вдоль всей верфи широкой полозой, и в нём через каждые полметра были пазы. Наши гаки в эти пазы становились. Теоретически.

С той стороны, на переходной галерее, стояли двое сходенцев в строительных касках поверх шлемов и с пневматическими гарпунами на плечах. Они не помогали. Они смотрели.

Ещё трое возились у лебёдок на самой верфи, и вот эти работали: развернули барабан, выкинули нам конец, и Тарас поймал его багром с третьего раза.

— Первый! — крикнул он.

Трос пошёл. Барабан лебёдки завыл тонко, на перетяге, и корпус под нами застонал по всей длине.

Нас потащило.

— Второй давай!

Второй как Тарас забил кувалдой прямо в паз, встав на колено, и я видел, как у него ходят плечи: он бил не сильно, он бил часто, короткими, как забивают гвоздь в мёрзлое дерево. Шплинты он держал в зубах и сквозь них матерился, и слов было не разобрать, а смысл был очень понятный.

Скорость упала едва.

— Дан! — сказала Аглая в шлемофон. — Коршун.

Я обернулся к кормовому визиру.

Коршун шёл за нами. Восемьсот метров троса выбрались за эти минуты в половину, потом в треть. Тормозить он не мог: семеро на борту, из них двое лежащих, и вести такую машину было некому.

— Он нас догоняет, — сказал я.

— Я вижу.

— Аглая, он нас...

— Я вижу, Дан.

Третий как взяли за секунду до того, как лопнул первый.

Болт уса вырвало с корнем, вместе с куском обшивки в две ладони, и трос ушёл в темноту с таким звуком, будто кто-то провёл смычком по всей верфи. Обрывок хлестнул по ферме, выбил сноп красной трухи, и его унесло.

— Минус один! — заорал Тарас.

Буферы пошли первыми. Стальные, набитые чем-то мягким сто лет назад, они смялись сразу, и по палубе поехало железо. Меня бросило на ремне, ремень взял под рёбра, и в голове осталось одно: правой руки я не чувствую и потому не узнаю, цела ли она.

Рина вцепилась в ремень кобуры Аглаи. Просто взялась двумя руками и держала, как за поручень, и смотрела прямо в визир не мигая, хотя за секунду до этого зажмурилась.

Аглая накрыла её ладонь своей. Молча, не глядя, и руку не убрала.

— Клинь! — крикнул Тарас. — Клинь давайте, чтоб вас!

Стопорный клинь лежал у переборки. Двенадцать кило-

граммов, борозда по краю — тот самый, который выбросило створкой на Точке-12; Тарас его тогда подобрал и приволок на борт, и Аглая ничего не сказала.

Док подтолкнул клин ногой. Тарас поймал его, развернулся и пошёл по рельсу к пазу, где ещё держался второй гак.

Он бил кувалдой сверху вниз, всем телом.

Первый удар клин не взял.

Второй — вошёл на четверть.

На третьем нас качнуло, и Тарас повис на кувалде, и я подумал, что сейчас его сорвёт с рельса и утащит между корпусом и фермой. Он не сорвался. Он подтянулся на страховочном, встал шире и ударил ещё раз.

Клин сел.

Корабль встал.

Это было не торможение. Это было столкновение, растянутое на несколько секунд: три троса разом взяли всю нашу инерцию, барабаны заклинило, тросы вытянулись в струну и запели каждый на своей ноте, и девятьсот тонн Молчуна легли на верфь всем весом. Что-то оторвалось на корме и поехало по обшивке. Свет на палубе моргнул и пропал.

Потом стало тихо.

В темноте сипел воздух из пробитой дренажной трубки где-то за переборкой, и красный маяк с уса продолжал бить в блистер: раз, два, раз, два.

— Коршун, — сказал я.

Он прошёл мимо нас в сорока метрах, медленно, как боль-

шая рыба, вылизанный, чёрный, с погашенными огнями, и его приняли на внешний вынос сходненские лебёдчики, тро-сами накрест, без всякого нашего участия: там у них была своя площадка и свои люди, умеющие ловить железо на под-ходе.

Патрульный Гильдии встал во второй эшелон, за нами, и с этого места он больше не был флотом. Он был грузом на приколе.

Тарас вернулся в шлюз последним. Забрало он поднял ещё в тамбуре, и с него текло — не пот, а вода: иней внутри скафандра оттаял разом.

— Ладонь, — сказал док.

— Нормально.

— Ладонь, Тарас.

Тарас протянул левую. Она была белая до кисти, и он её не сгибал.

Он не пошёл к доку. Он вышел на площадку у среза, на-скрёб перчаткой с обшивки астероида ледяной крошки — её там намело в шов у бортовой полосы — и стал растирать ладонь этой крошкой, крепко, с силой, и ругался, и по мере того, как ладонь розовела, ругался всё довольнее.

— Механик, — сказал док.

— Врач, — сказал Тарас.

На этом медицинская часть закончилась.

Шлюзовой рукав нам подали в девять. Жёсткий, верфя-ного дела: гофрированная кишка на растяжках, которую два

сходненца притянули к нашему борту вручную и обжали хомутом. Тянуло по ней чужим воздухом, сухим, с железом и кислым душком травленого припоя.

Внутри рукава шёл настил из решётки, а под ним было видно вакуум и звёзды. Идти по такому — отдельное удовольствие.

Пошли трое: Аглая, док и я. Тарас остался на борту, Рина — на связи.

Будка смотрителя стояла у входа в шлюз: сваренная из листа коробка с окном в полстены, изнутри жёлтый свет, а на створке — от руки, краской, по трафарету: Сходни. Причальный контроль. Приливы.

За окном сидел мужик лет шестидесяти в промасленном ватнике, надетом поверх гермокостюма. Ватник был застёгнут на одну пуговицу и на два куса проволоки. На шее у него на цепочке висел клеёнчатый журнал, толстый, разбухший, и он его не снимал даже сидя.

— Стоп, — сказал он в динамик. Хрипел он ровно, привычно: тридцать лет говорить в плохие микрофоны — связки и подстроятся. — Борт, регистр, груз, люди. По порядку.

— Молчун, — сказала Аглая. — Регистр Тупик. Груза нет. Пять человек и Коршун на буксире, за него я не отвечаю.

— За него тут никто не отвечает, — сказал смотритель. — Я Ошма. Я тут причал. Мне на вас плевать, мне на причал не плевать. Вы мне ус сорвали.

— Сорвали.

— Один.

— Один.

Ошма помолчал, глядя на неё.

— Честно сказала, — сказал он. — Обычно врут, что он сам.

Он повернулся, сплюнул сквозь зубы и попал точно — в стреляную гильзу от сигнального патрона, прикрученную проволокой к краю пульта вместо пепельницы. Гильза была полная. Он делал так, видимо, лет пять.

— Вода, — сказала Аглая. — У меня двадцать шесть литров расходной на пятерых и сорок аварийных за пломбой. Мне нужны баки. И мне нужен стапель на маневровый тракт.

— Всем нужны баки, — сказал Ошма. — Вода тут по приливам. Сеть подходит раз в трое суток, тогда качаем. Это не ко мне, это к Гессе. Сперва контроль.

Он нажал что-то на пульте.

Из потолка рукава, из ниши, которую я до того принял за светильник, выехала рама. Медленно, с металлическим тиком, как старые весы. В раме стояли четыре трубки, и трубки затлели — не ярко, тускло-зелёным.

— Руки от тела, — сказал Ошма. — По одному. Медленно.

— Что это? — спросил я.

— Фотометр, — сказал он. — Смотрит, не светишься ли ты. Из Глуши приходят по-разному. Некоторые приходят светящиеся. Мы таких не пускаем.

— В каком смысле светящиеся?

Ошма разглядывал меня из-за стекла долго, так смотрят на дурака, который спросил, зачем нужен воздух.

— В прямом, парень, — сказал он. — В прямом.

Аглая прошла первой. Рама тикнула над ней и погасла. Док прошёл вторым: тик, погасло. Он даже сигарету не вынул изо рта, только переложил в угол.

Я шагнул под раму.

Трубки взяли ровно — и тут же пошли вверх. Зелёное стало белым, потом это перестало быть светом и стало звуком: рама завывала. Тонко, на одной ноте, и вой шёл вверх, и вместе с ним у меня поднялась жила на шее.

Она пульсировала пятые сутки, в такт стуку, через одну и восемь. Сейчас она била чаще и сильно, и я чувствовал каждый удар от ключицы до угла челюсти.

Правая рука потеплела. Впервые за пять суток — от локтя к запястью потянуло тонкой ниткой тепла, и это было хуже всего, потому что означало: оно здесь, оно отзывается, и прибор его видит.

— Назад! — рявкнул Ошма.

Двое караульных на галерее сдёрнули гарпуны с плеч в одно движение, и я услышал, как в баллонах щёлкнуло давление. Гарпун — не карабин. У него не бывает предупредительного.

— Стоять всем, — сказала Аглая.

— Он светится, — сказал Ошма.

Хрипа в нём стало меньше, и сквозь него проступило что-то ровное, служебное.

— Он светится, женщина. Твой парень светится на частоте снятых. У меня журнал за одиннадцать лет, я такое видел трижды. Два раза мы не пустили. Один раз пустили.

— И что было в тот раз?

— Тебе не надо, — сказал Ошма.

Я стоял под рамой и не двигался. Вой не прекращался. Он лез в зубы, и дышал я уже под стук отца, а не под свой пульс. Стук здесь стал ближе. Он шёл откуда-то спереди-снизу, из глубины верфи, из-за шлюза, ровно, раз в одну и восемь. Мы пришли правильно.

Отец был за этой дверью. Или его след. Или его слово карандашом поверх штампа.

— Это Раствор, — сказал док.

Он сказал это спокойно, глядя не на Ошму, а на раму.

— Что?

— У парня повреждение нервов и вен. Обширное. Оно фонит. Ваша труба видит не человека, она видит его руку. Я врач, я могу показать вам записи, я их веду с датой и временем.

— Мне без разницы, что она видит, — сказал Ошма. — Она воет. На всех молчала, а на нём воет. Я по нему не решаю. По нему решает Гесса.

Он снял с цепочки журнал, положил на пульт, раскрыл, поспешил палец и стал писать.

Писал он долго. Мы стояли. Один из караульных переступил с ноги на ногу, и решётка настила под ним звякнула.

Ошма писал, шевеля губами, и слюнил палец на каждом обороте. У дока такая же тетрадь, только там считают меня, а тут считают, пускать меня или нет. Двое с тетрадями за пять суток. Для одного меня многовато.

Потом Ошма поднял трубку с витым шнуром — настоящую, проводную — и сказал в неё несколько слов, которых мы не слышали.

Слушал он минуту.

— Ага, — сказал он. — Ага. Понял. Ага.

Положил трубку.

— Гесса Марь распорядилась, — сказал он в динамик. — Причал открываем. Воду дадим по приливу, стапель обсудите с ней. Условие одно, и оно не обсуждается.

— Говори.

— Он выходит на верфь один.

Аглая не пошевелилась.

— Один, — повторил Ошма. — Без оружия. Без своих. И без корабля за спиной: борт останется на клине, ходовой рубке я опечатаю пульт, а шлюз мы закроем на затвор с той стороны. Если он то, чего мы боимся, — он никого с собой не заберёт, кроме себя. Если он то, что говорит ваш доктор, — с него ничего не убудет.

— Он мой человек, — сказала Аглая.

— На той стороне он ничей человек, — сказал Ошма. —

Такое тут правило, женщина. Я его не придумал. Я по нему живу одиннадцать лет и потому живу.

— А если я скажу нет?

Ошма пожал плечами под ватником.

— Тогда мы обрежем вам тросы, — сказал он. — И вы уйдёте обратно в ком. Своим ходом. Насколько я вижу по вашей швартовке, хода у вас нет.

Тишина.

Док вынул сигарету изо рта, посмотрел на неё и не закурил. Аглая молчала так, что стало слышно, как сипит воздух из пробитой дренажной трубки за переборкой.

— Дан, — сказала она.

— Я иду.

— Я не спросила.

— Ты собиралась.

Она повернулась ко мне. Лицо у неё было такое же, как всегда, и от этого хуже.

— Там, за дверью, я не смогу тебя вытащить, — сказала она. — Ни голосом, ни карабином, никак. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— Скажи вслух, что понимаешь.

— Я иду туда один, и меня оттуда никто не вытащит, — сказал я. — Понимаю.

Она смотрела на меня ещё секунду. Потом сняла с пояса флягу, отвинтила крышку, не отпила и завинтила обратно.

— Иди, — сказала она.

Док шагнул вперёд и взял меня за левое запястье двумя пальцами, глядя мне в лицо. Считал. Губы у него не двигались.

— Сто десять, — сказал он и отпустил. — Дан.

— Что.

— Ешь, если дадут. И не показывай им руку.

Я пошёл.

Настил кончился, начался обвод шлюза, и сзади включились приводы. Затвор тут стоял броневой, старого верфяного образца: плита в ладонь толщиной, ходящая по направляющим сверху вниз.

Я обернулся на ходу.

Аглая стояла в рукаве, за жёлтой краевой полосой, положив ладонь на кожух привода, тёплый от работы. Док стоял на полшага сзади. Рина в интеркоме что-то говорила, но динамик уже отрубили, и слов не было.

Плита пошла.

Она шла медленно, красный маяк с уса бил в окно рукава, и в этих вспышках я в последний раз увидел лицо Аглаи — раз, два, — а потом плита села в паз, и грохот прокатился по всей ферме до самого астероида и ушёл в него.

Стало тихо.

Совсем тихо. Ни лебёдок, ни воя рамы, ни голоса Рины в ухе. Только где-то далеко шипел пар из дренажной трубки, ровно и бесконечно, и капало.

Я стоял один на промороженном настиле верфи.

Настил был серый от инея, и на нём отпечатались следы: много, разных, свежих. Здесь ходили каждый день. Слева и справа на галереях стояли двое с гарпунами, и стволы смотрели мне в грудь, и они не опустили их даже теперь, когда за мной закрылась дверь.

Стук отца шёл снизу-спереди. Через одну и восемь.

Прямо оттуда, из чёрного проёма прохода, куда не доставал свет.

В проходе кто-то шёл.

Шаги были неторопливые, тяжёлые, подкованные — сначала я их услышал, а потом увидел, как из темноты выступает человек. Женщина. Невысокая, в кожаном фартуке до колен поверх стёганки, рукава закатаны до локтя, руки в застарелых ожогах.

В руках она держала тетрадь.

Обыкновенную, толстую, в клеёнчатой обложке, заложенную в трёх местах.

Она остановилась в пяти шагах, посмотрела на меня, потом на мою правую руку в косынке, потом снова на меня. Открыла тетрадь. Полистала — уверенно, зная, где искать.

И подняла глаза.

— Ну, — сказала она. — Наконец-то шестой.

Глава 7. Тетрадная

— Шестой, — повторил я. — Это порядковый номер или диагноз?

Женщина закрыла тетрадь на пальце и пошла мимо меня, к проходу, откуда пришла.

— Иди за мной. Держись левее, там настил проваливается.

Я пошёл. Левая нога сразу нашла место, где иней лежал темнее, и настил там действительно вздохнул под ботинком, просел на палец и вернулся. Сзади с галерей спустились двое в брезентовых штормовках, встали за спиной шагах в шести и так и держали дистанцию всю дорогу. Гарпуны у них были пневматические, с толстым баллоном под стволом, и стволы смотрели мне в поясницу. Не в спину. В поясницу — чтобы навывлет ушло в настил, а не в своих.

Стук отца шёл снизу-спереди, одна и восемь между ударами, и не сдвинулся ни на градус с тех пор, как за мной села плита. Он отдавал в кость нижней челюсти и в жилу на шее справа, ту самую, почерневшую. Каждый удар — короткий толчок изнутри, будто кто-то снизу стучит согнутым пальцем в столешницу, а ты сидишь сверху и слушаешь.

Проход был узкий, ржавый, с трубами по потолку, и с труб капало. Капало часто и вразнобой, и капли я начал считать сам, не заметив, — чтобы не сбиться с такта. Считать я мог.

Идти прямо получалось хуже.

Правая рука висела в косынке пятые сутки, и вся её масса теперь тянула меня вправо на каждом шаге. Плеча не чувствовал, локтя не чувствовал, и узла косынки на шее — тоже, поэтому узел незаметно полз, пока рука не съехала вниз, к бедру, и меня не повело на стену.

Я подцепил край косынки зубами и попытался подтянуть здоровым плечом. Ткань выскользнула.

Женщина остановилась. Обернулась. Смотрела, как я вожусь, две секунды, три.

Потом шагнула мне за спину, одним движением перехватила узел, затянула и толкнула ладонью под локоть, ставя руку на место.

— Так, — сказала она. — Ходи.

Ни капли жалости в голосе. Так поправляют стропу на ящике.

Мы вышли на галерею, и я встал.

Под нами был сухой док — длинная бетонная яма, вырубленная в теле астероида, метров триста в длину, с рельсовыми путями по бортам и с чёрной от масла водой на самом дне, в дальнем конце. Над доком висели фермы кранов, и на одной ферме горела дуга. Сварщица стояла на мостике, подняв щиток, и смотрела на меня. Не на конвой. На меня. Горелку держала у бедра, и электрод у неё дымил впустую.

По всей длине галереи вдоль перил стояли люди. Немного, десятка полтора. Они не подходили и не расходились. Жен-

щина с ведром прижала ведро к животу. Мужик в вязаной шапке снял шапку, помял её в кулаке и надел обратно.

— Они боятся, — сказал я.

— Они считают, — сказала женщина. — Сколько тебе идти до нижнего яруса и сколько нас останется, если ты по дороге сорвёшься. Меня зовут Гесса Марь. Ловчиха. Всё, что тут знают про Глушь, знаю я, и всё, что знаю, я записала. Тетради мои. Правила мои.

— Дан Веко. Навигатор.

— Практикант, — сказала она. — Без лицензии. Я говорила с вашим капитаном по проводу двадцать минут. Она мне зачитала судовую роль.

Фотометр на стойке в конце галереи затрещал, когда я поравнялся с ним, — сухо, часто, как счётчик, у которого кончается лента. На причале он выл, здесь трещал. Конвойный слева поднял гарпун выше, к лопатке.

— Тихо, — сказала Гесса, не оборачиваясь. — Он на руку срабатывает. Опустил.

— Гесса Марь...

— Я сказала: опустил. Тебе полторы минуты назад показали, что он стоит на своих ногах и говорит словами. Значит, он ещё человек.

Гарпун опустился. Не до конца.

Косынка с рукой висела у всех на виду, и я успел подумать: интересно, как я выгляжу на их частоте. Светлым пятном? Дырой? Спрашивать не стал.

Гесса дошла до конца галереи и остановилась у самого края, где перила были срезаны и заменены цепью. Там висел колокол. Обыкновенный судовой колокол с оборванной верёвкой, зелёный от старости, а рядом с ним на двух скобах — обрезок рельса длиной в мой рост, и на рельсе следы: сотни ударов, сбитых в одну блестящую вмятину.

— Смотри сюда, — сказала она. — Это тебе важнее, чем всё, что ты сегодня услышишь про себя.

Она взяла молоток, висевший на цепочке, и ударила по рельсу один раз.

Звон пошёл по галерее, по фермам, вниз в док, и вернулся оттуда чуть позже и глуше. Внизу, у чёрной воды, кто-то поднял голову.

— Один удар — вода поднимается, — сказала Гесса. — Два — вода встала. Три — все с нижних ярусов наверх, немедленно, бросая инструмент. Мы живём тут одиннадцать лет. Восемьдесят два человека. За одиннадцать лет три удара били девять раз, и после каждого раза мы недосчитывались людей. По одному. Всегда по одному.

— Прилив, — сказал я. — В доке нет моря. Откуда прилив?

— Двери дышат, — сказала она. — Тут внизу дверь. Не наша, не гильдейская, старая. Она вдыхает и выдыхает, и вместе с ней ходит вода в нижнем ярусе. Раз в двадцать часов с небольшим. Следующий подъём в девятнадцать пятнадцать, до него семь часов. По этому такту у нас работают

смены, варят обед и ложатся спать. Не по уставу и не по часам Гильдии. По двери.

Я стоял и слушал, как у меня в челюсти отбивает свою одну и восемь.

— Дышит ровно?

— Ровно, — сказала Гесса. — Что?

— Ничего. — Я оперся здоровой рукой о цепь. — У меня свой такт. Он другой.

Она перевела взгляд на меня и задержала — первый раз за всё время не как на грузе.

— Вот об этом мы и поговорим, — сказала она. — Наверх. Конвой, свободны.

Один из брезентовых открыл рот.

— Свободны, — повторила Гесса. — Если он захочет меня убить, гарпун вам не поможет, а если не захочет, вы мне мешаете работать.

Они ушли. Не сразу, но ушли.

Тетрадная оказалась четырьмя переборками, сваренными в углу старой кладовой, с потолком из натянутого брезента. Стол под лампой. Керосиновая лампа, настоящая, с закопчённым стеклом, и второй свет — шахтёрский фонарь на скобе, повёрнутый в потолок. Полки по трём стенам, а на полках связки сушёного мха, серого, с чёрным крапом, от которого пахло горькой полынью и подвалом.

Мох лежал не для запаха. Он лежал от сырости, и лежал в подсчитанном порядке: где полка провисала к стене, там

связок было втрое больше.

На средней полке стояли тетради. Девять штук, клеёнчатые, корешки перемотаны изолентой, у каждой на торце белой краской номер. Десятая лежала на столе, открытая, и была почти пуста.

— Садись.

Я сел. Стул был низкий, и стол вышел мне под грудь, и я понял, что стул низкий нарочно.

Гесса налила из закопчённого чайника в шербатую эмалированную кружку и поставила передо мной. Настой был бурый, с плавающими волокнами, и пах той же полынью, что и полки.

Себе она не налила. Обхватила ладонями свою пустую кружку, погрела о железо и отставила.

— Пей. Оно горькое и от него сводит скулы, зато после Глуши перестаёт стоять в горле железо.

Я взял кружку левой. Пить левой я научился на четвёртый день и до сих пор проливал.

— Товар, — сказала Гесса.

— Что?

— Ты пришёл торговать. Начинай с того, что тебе надо, и не рассказывай мне про свою судьбу. Судьба ничего не стоит.

Я поставил кружку.

— Стапель. У нас выбиты обе пары маневровых сопел и разбиты коллекторы. Механику нужен стапель и верфяной инструмент, и неделя. — Я загнул палец на левой. — Вода.

Двести литров.

— Двести.

— У нас двадцать шесть с небольшим и сорок в неприкосновенном за пломбой. Это тридцать пять часов при полутора глотках на человека.

— Двадцать шесть и два, — сказала она. — Ваш капитан назвала мне цифру с запятой. Дальше.

— Стоянка. И ориентиры. — Я посмотрел на неё. — Мёртвый меридиан. Мне нужны отметки, маяки, что угодно, чем тут ходят к нему.

Гесса не переспросила. Вот что мне не понравилось больше всего: она не переспросила, что такое Мёртвый меридиан.

— Чем платишь? — сказала она.

— У капитана есть расписка на семьдесят тысяч за разгрузку. Есть остаток по рейсу.

— Кредиты.

— Кредиты.

Она взяла со стола нож, короткий, с обломанным кончиком, и стала подчищать лезвием чернильную кляксу на полях раскрытого листа. Мелкими движениями, вбок, снимая верхний слой бумаги.

— За Кромкой кредит — это обещание того, до кого пятнадцать суток хода и кто тебя не знает, — сказала она. — Гильдейский вексель — обещание конторы, которая нас списала одиннадцать лет назад вместе с этой верфью. Бумагу я топлю в котле, она хорошо горит. У нас в ходу вода, металл,

работа и правила. Правила дороже всего.

— Правила.

— Ты пока не понял, что купил бы, если бы у тебя было чем. — Она сдула бумажную пыль с полей. — Сколько ваших ходило за Кромку?

— Один. Наш врач.

— Живой?

— Живой.

— Значит, у него есть правила, просто он их не записал. — Она отложила нож. — Слушай сюда, практикант. У вас в поясе на страшное посылают человека с ружьём. Тут ружьё стоит дешевле верёвки. Тут на страшное идут с листком, на котором написано, чего оно не может.

Она встала, взяла с полки третью по счёту и положила передо мной. Открыла не глядя, сразу на нужном месте.

Почерк был крупный, печатный, с нажимом. Правая страница — текст, левая — столбец дат и коротких пометок.

— Читай вслух. Я хочу слышать, как ты это выговоришь.

Я прочёл.

«Пряха. Тянет всё, что связано в пару. Веревка, фал, шланг, цепь, два человека под руку. Тянет к себе с любого расстояния, если пара натянута. Расцепись. Останься один. Не держись за напарника. Ушедших в связке — одиннадцать. Ушедших поодиночке — ноль.»

— Ещё раз, — сказала Гесса. — Последнюю строчку.

— Ушедших в связке — одиннадцать. Ушедших пооди-

ночке — ноль.

— Теперь ты его слышал. Знать будешь, когда повторишь мне через час, не глядя.

Я перевернул лист. На следующем развороте почерк был тот же, но чернила бледнее.

«Обратка. Идти вперёд нельзя: каждый шаг возвращает на шаг. Коридор не кончается. Иди по чужому следу наоборот, пяткой в носок. Проверено трижды.»

— Это как? — сказал я. — Идти назад по следам того, кто шёл вперёд?

— Того, кто оттуда не вышел, — сказала она. — Его след ведёт внутрь. Ты по нему пятишься наружу и выходишь. Место отдаёт то, что взяло, если сделать движение обратным. Почему — не знаю и знать не собираюсь. Я одиннадцать лет пишу, что работает, а не почему.

Я смотрел на страницу и думал про станцию, про зал, где часы показывали чужое время, про колонну людей, которые шли по своим делам с лицами, на которых не было страха. И про то, что мы там ничего этого не знали, и вытащили Тараса чудом, и что чудо — это слово, за которое, кажется, тут быют.

— Сколько стоит одна страница? — сказал я.

— Смотря кому. — Гесса забрала её и поставила на место, корешком ровно в ряд. — Тебе я продам пакет. Стапель, инструмент, ремонт руками нашего мастера. Двести литров технической воды рукавом сегодня и потом по норме до конца стоянки. Стоянку на второй ферме. Пять правил с про-

веркой на память. И ориентиры к твоему меридиану — те, что у меня есть, и я честно скажу, чего у меня нет.

— Цена.

— Закладная на ваш корабль, — сказала она. — И одна личная услуга ключника.

Лампа сипела. Где-то за брезентом капало в подставленную жестянку, редко и звонко.

— Закладная, — сказал я.

— Бумага. Ваш капитан подписывает, что при неисполнении обязательства «Молчун» переходит поселению Сходни. Без права выкупа. Со всем, что на борту.

— Это весь корабль за двести литров воды.

— Это весь корабль за то, что вы вообще досюда доехали, — сказала Гесса ровно. — Вас никто не звал. У вас нет тяги, воды на полтора дня, за вами на тросе висит патрульный Гильдии с командой, и они там сидят и ждут, чем всё кончится. Вы для нас не гости. Вы для нас риск, который жрёт нашу воду. Я его беру на себя и хочу обеспечение.

Я молчал.

— А услуга? — сказал я.

Гесса села напротив. Впервые за всё время села.

— Три года назад у нас встала дверь в затопленном ярусе, — сказала она. — За ней машинное. Там наш насос. Тот, который откачивает воду из нижних ярусов после каждого подъёма и подаёт её на фильтры. Пока он стоит, мы берём воду только приливом, шесть часов в сутки, и половину те-

ряем в грязь.

— Дверь заклинило?

— Дверь исправна. — Она смотрела мне в лицо. — Ручка ходит. Запор снят. Она не открывается.

Я вспомнил Тараса и его поговорку про ручку, которая ходит, и промолчал.

— Мы вскрывали её резакom. Металл режется и садится обратно, шов уходит за сутки. Мы подрывали петли. То же самое. Я послала туда четверых за три года, по одному, с интервалом, и все четверо вернулись.

— Вернулись, — повторил я.

— Все четверо. — Гесса взяла карандаш из футляра на поясе, положила поперёк раскрытого листа и выровняла. — Первый вернулся без ножа. Второй — без обручального кольца. Третий — без фотографии дочери, которую носил в нагрудном. Четвёртый — без своего голоса.

— Без голоса.

— Он вышел, дошёл до галереи, сел и с тех пор не говорит. Мычит, пишет. Читать умеет. Слышит нормально. Голос он туда отдал.

Я сглотнул, и это было слышно.

— Там что-то есть, — сказал я.

— Там что-то есть, — согласилась она. — Имени у него нет. Я его записала под словом Недоимка, потому что оно берёт недостачу. С каждого, кто входит, оно берёт ровно одну вещь. Одну. Не больше. Правило первое: заплати сам и

заплати дорогим. Правило второе: за фальшивое оно возвращает вдвое, и возвращает кровью.

— Что значит фальшивое?

— То, чего тебе не жалко, — сказала Гесса. — Оно берёт не вещь. Оно берёт цену вещи. Мужик пробовал сунуть ему рваную перчатку, и оно взяло у него два пальца с этой руки. Он сам не понял, в какой момент. Вышел, сел, и только тогда увидел.

Я скосил глаза на косынку. Одну вещь, значит. У меня уже взяли, и не спросили.

— И ты хочешь, чтобы туда пошёл я.

— Я хочу, чтобы туда пошёл человек, который открывает двери, — сказала она. — Мне такого прислали на причал. Фотометр на тебя трещит, как на моих станках, и ты вошёл сюда комой, которую у нас за одиннадцать лет никто не прошёл. Я не верю в везение, Веко. Я одиннадцать лет отучаю людей от этого слова. Ты умеешь то, чего не умею я, и мне нужны твои руки на этой двери.

— У меня одна.

— Мне хватит одной.

Я взял кружку и допил горькое. Скулы свело, как она и сказала.

— Почему шестой? — сказал я.

Гесса ответила не сразу.

— Ты у меня в тетради шестой, кто пришёл сюда с этим треском, — сказала она. — Первый был девять лет назад.

Он тоже говорил, что у него свой такт. Он ушёл дальше, к меридиану. Что с ним стало, я не знаю, но вернулся он ко мне ни разу.

— А пятеро?

— Пятеро тоже не вернулись, — сказала она. — И вот теперь ты соображаешь, почему я не тороплюсь брать за твою работу деньги. Деньги мне вернуть будет некому.

Шестой. Второй раз за десять суток мне называли это число, и каждый счёт был свой: у зрителя Гильдии — по списку мёртвых носителей, у этой — по треску фотометра. Я не стал складывать два списка при ней.

Переговорный бокс висел прямо у шлюза причала, и одна стена там была из бронестекла в палец толщиной, мутного, с прожилками сетки. За стеклом стоял наш рукав, а в рукаве — Аглая.

Я видел её всю. Она видела меня.

Между нами были палец бронестекла, обвод шлюза и решение, которое ей предстояло принять.

Интерком работал в одну сторону поочерёдно, с щелчком: говоришь — жмёшь клавишу. Ошма сидел у клавиши, привалившись плечом к раме, в своём ватнике, и жевал что-то. Гесса разложила на столе три листа. Бумага была плохая, серая, но линовка на ней была отпечатана типографски, и в углу стоял штемпель: верфь, номер, год. Двадцатилетней давности.

Я прочитал вслух то, о чём договорился. Всё, включая

четверых и Недоимку.

Аглая слушала не перебивая. Когда я кончил, она нажала клавишу.

— Тарас на связи? — сказала она.

В динамике зашуршало, и голос Тараса пришёл издалека, с борта, из машинного, и был слышен хуже.

— Тут я.

— Что тебе нужно от их стапеля.

— Всё, — сказал Тарас с чувством. — Кузню. Сварку с нормальным газом. Оправку под коллектор. У них тут кран на семь тонн, я видел с уса, у него стрела родная, верфьяная. Аглая, у них тут инструмент, который я в жизни только в справочнике...

— Короче.

— Неделю и стапель, и я верну тебе обе пары. Без стапеля я не верну ничего, сколько ни ругайся.

Аглая отпустила клавишу. Помолчала. Потом опять нажала.

— Гесса Марь.

— Слушаю.

— Три вопроса. — Аглая держала клавишу и говорила ровно, как в судовой журнал. — Первый. Вода идёт до его спуска или после?

— До, — сказала Гесса. — Рукав подключим сейчас. Двести литров — это аванс, и это мой риск.

— Второй. Мой механик заходит на стапель когда?

— Сегодня же. Мастер его встретит. Инструмент из наших рук, из мастерской не выносить.

— Третий. — Аглая нашла меня глазами за бронестеклом.

— Что с моим человеком, если он оттуда не вернётся.

— Заклад останется у поселения, — сказала Гесса. — Я вам не буду врать в глаза при подписи. Так будет.

— А корабль?

— Корабль перейдёт нам. Экипаж — не имущество: останетесь тут жить и работать, и вас никто не выгонит, у нас лишних рук нет. Вода по норме, как всем.

Аглая долго молчала. Мне было видно, как она отвинтила крышку фляги, подержала и завинтила назад, так и не отпив.

— Дан.

— Да.

— Ты идёшь туда, потому что тебе нужна вода для команды, или потому что тебе туда хочется?

Я подумал секунду. Врать в упор, глаза в глаза, было бы совсем глупо.

— Оба, — сказал я. — Но воду мы пьём завтра, а хочется мне послезавтра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.